# Амос Оз

# Иуда



Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio\_book/?art=25452707&lfrom=236997940

«Иуда. Роман»: Фантом Пресс; Москва; 2017

ISBN 978‑5‑86471‑767‑7

## Аннотация

Зима 1959‑го, Иерусалим. Вечный студент Шмуэль Аш, добродушный и романтичный увалень, не знает, чего хочет от жизни. Однажды на доске объявлений он видит загадочное объявление о непыльной работе для студента‑гуманитария. Заинтригованный Шмуэль отправляется в старый иерусалимский район. В ветхом и древнем, как сам город, доме живет интеллектуал Гершом Валд, ему требуется человек, с которым он бы мог вести беседы и споры. Взамен Шмуэлю предлагается кров, стол и скромное пособие. В доме также обитает Аталия, загадочная красавица, поражающая своей ледяной отрешенностью. Старика Валда и Аталию связывает прошлое, в котором достаточно секретов. Шмуэль часами беседует со стариком, робеет перед таинственной Аталией и все больше увлекается темой предательства Иуды, на которую то и дело сворачивают философские споры. Ему не дают покоя загадки, связанные с этой женщиной, и, все глубже погружаясь в почти детективное расследование, он узнает невероятную и страшную историю Аталии и Валда. Новый роман израильского классика Амоса Оза – о предательстве и его сути, о темной стороне еврейско‑христианских отношений, наложивших печать и на современную арабо‑еврейскую историю. Нежная, мягко‑ироничная проза Амоса Оза полна внутреннего напряжения, она погружает в таинственную атмосферу давно исчезнувшего старого Иерусалима и в загадочную историю Иуды.

# Амос Оз

# Иуда

JUDAS © 2014, Amos Oz. All rights reserved

Published with the support of The Institute for the Translation of Hebrew Literature, Israel and the Embassy of Israel, Moscow Издано при поддержке Института Перевода израильской литературы (Израиль) и Посольства Израиля (Москва)

© Виктор Радуцкий, перевод, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© “Фантом Пресс”, издание, 2017

###### \* \* \*

И каждому народу – на языке его.

Книга Эсфирь, 1:22

Посвящается Деборе Оуэн

*Вот мчит краем поля предатель‑беглец.*

*Бросит камень в него не живой, а мертвец.*

Натан Альтерман. “Предатель”.

Из поэмы “Радость бедных”

## 1

Вот рассказ из дней зимы конца тысяча девятьсот пятьдесят девятого года – начала года шестидесятого. Есть в этом рассказе заблуждение и желание, есть безответная любовь и есть некий религиозный вопрос, оставшийся здесь без ответа. На некоторых домах до сих пор заметны следы войны, разделившей город десять лет тому назад. Откуда‑то из‑за опущенных жалюзи доносится приглушенная мелодия аккордеона или рвущий душу сумеречный напев губной гармошки.

Во многих иерусалимских квартирах можно найти на стене гостиной водовороты звезд Ван Гога или кипение его кипарисов, а в спальнях пол все еще укрывают соломенные циновки; “Дни Циклага”[[1]](#footnote-1) или “Доктор Живаго” лежат распахнутые, вверх обложкой, на тахте с поролоновым матрасом, прикрытой тканью в восточном вкусе, рядом с горкой вышитых подушек. Весь вечер горит голубое пламя керосинового обогревателя. Из снарядной гильзы в углу комнаты торчит стилизованный букетик из колючек.

В начале декабря Шмуэль Аш забросил занятия в университете и засобирался покинуть Иерусалим – из‑за любви, которая не удалась, из‑за исследования, которое застопорилось, а главным образом из‑за того, что материальное положение его отца катастрофически ухудшилось и Шмуэлю предстояло найти себе какую‑нибудь работу.

Он был парнем крупного телосложения, бородатым, лет двадцати пяти, застенчивым, сентиментальным, социалистом, астматиком, легко увлекающимся и столь же быстро разочаровывающимся. Плечи у него были тяжелыми, шея – короткой и толстой, такими же были и пальцы – толстыми и короткими, как будто на каждом из них недоставало одной фаланги. Изо всех пор лица и шеи Шмуэля Аша неудержимо рвалась курчавая борода, напоминавшая металлическую мочалку. Борода эта переходила в волосы, буйно курчавившиеся на голове, и в густые заросли на груди. И летом и зимой издалека казалось, что весь он распален и обливается потом. Но вблизи, вот приятный сюрприз, выяснялось, что кожа Шмуэля источает не кислый запах пота, а, напротив, нежный аромат талька для младенцев. Он пьянел в одну секунду от новых идей – при условии, что эти идеи являются в остроумном одеянии и таят некую интригу. Уставал он тоже быстро – отчасти, возможно, из‑за увеличенного сердца, отчасти из‑за донимавшей его астмы.

С необычайной легкостью глаза его наполнялись слезами, и это погружало его в замешательство, а то и в стыд. Зимней ночью под забором истошно пищит котенок, потерявший, наверное, маму, он так доверчиво трется о ногу и взгляд его столь выразителен, что глаза Шмуэля тотчас туманятся. Или в финале какого‑нибудь посредственного фильма об одиночестве и отчаянии в кинотеатре “Эдисон” вдруг выясняется, что именно самый суровый из всех героев оказался способен на величие духа, и мгновенно у Шмуэля от подступивших слез сжимается горло. Если он видит, как из больницы Шаарей Цедек выходят изможденная женщина с ребенком, совершенно ему не знакомые, как стоят они, обнявшись и горько плача, в ту же секунду плач сотрясает и его.

В те дни слезы считались уделом женщин. Мужчина в слезах вызывал изумление и даже легкое отвращение – примерно в той же мере, что и бородатая женщина. Шмуэль очень стыдился этой своей слабости и прилагал огромные усилия, чтобы сдерживаться, но безуспешно. В глубине души он и сам присоединялся к насмешкам над своей сентиментальностью и даже примирился с мыслью, что мужественность его несколько ущербна и поэтому, вероятнее всего, жизнь его, не достигнув цели, пронесется впустую.

“Но что ты делаешь? – вопрошал он иногда в приступе отвращения к себе. – Что же ты, в сущности, делаешь, кроме того, что жалеешь? К примеру, тот же котенок, ты мог укутать его своим пальто и отнести к себе в комнату. Кто тебе мешал? А к той плачущей женщине с ребенком ты ведь мог просто подойти и спросить, чем можно им помочь. Устроить мальчика с книжкой и бисквитами на балконе, пока вы с женщиной, усевшись рядышком на кровати в твоей комнате, шепотом беседуете о том, что с ней случилось и что ты можешь для нее сделать”.

За несколько дней до того, как оставить его, Ярдена сказала: “Ты либо восторженный щенок – шумишь, суетишься, ластишься, вертишься, даже сидя на стуле, вечно пытаешься поймать собственный хвост, – либо бирюк, который целыми днями валяется на кровати, как душное зимнее одеяло”.

Ярдена имела в виду, с одной стороны, постоянную усталость Шмуэля, а с другой – намек на его одержимость, проявлявшийся в походке: он всегда словно вот‑вот был готов сорваться на бег; лестницы одолевал штурмом, через две ступеньки; оживленные улицы пересекал по диагонали, торопливо, не глядя ни вправо ни влево, самоотверженно, словно бросаясь в гущу потасовки. Его курчавая, заросшая бородой голова упрямо выдвинута вперед, словно он рвется в бой, тело – в стремительном наклоне. Казалось, будто ноги его изо всех сил пытаются догнать туловище, преследующее голову, боятся отстать, тревожатся, как бы Шмуэль не бросил их, исчезнув за поворотом. Он бегал целый день, тяжело дыша, вечно торопясь, не потому что боялся опоздать на лекцию или на политическую дискуссию, а потому что каждую секунду, утром и вечером, постоянно стремился завершить все, что на него возложено, вычеркнуть все, что у него записано на листке с перечнем сегодняшних дел. И вернуться наконец в тишину своей комнаты. Каждый из дней его жизни виделся ему изнуряющей полосой препятствий на кольцевой дороге – от сна, из которого он был вырван поутру, и обратно под теплое одеяло.

Он очень любил произносить речи перед всеми, кто готов был его слушать, и особенно – перед своими товарищами из кружка социалистического обновления; любил разъяснять, обосновывать, противоречить, опровергать, предлагать что‑то новое. Говорил пространно, с удовольствием, остроумно, со свойственным ему полетом фантазии. Но когда ему отвечали, когда наступал его черед выслушивать идеи других, Шмуэля тотчас охватывали нетерпение, рассеянность, усталость, доходившая до того, что глаза его сами собой слипались, голова падала на грудь.

И перед Ярденой любил он витийствовать, произносить бурные речи, рушить предвзятые мнения и расшатывать устои, делать выводы из предположений, а предположения – из выводов. Но стоило заговорить Ярдене, и веки его смыкались через две‑три секунды. Она обвиняла его в том, что он никогда ее не слушает. Он с жаром отрицал, она просила его повторить ее слова, и Шмуэль тут же принимался разглагольствовать об ошибке Бен‑Гуриона[[2]](#footnote-2).

Был он добрым, щедрым, преисполненным благих намерений и мягким, как шерстяная перчатка, вечно старавшимся всегда и всем быть полезным, но также был и несобранным, и нетерпеливым: забывал, куда подевал второй носок; чего хочет от него хозяин квартиры; кому он одолжил свой конспект лекций. Вместе с тем он никогда ничего не путал, цитируя с невероятной точностью, что сказал Кропоткин о Нечаеве после их первой встречи и что говорил о нем спустя два года. Или кто из апостолов Иисуса был молчаливее прочих апостолов.

Несмотря на то что Ярдене нравились и его нетерпеливость, и его беспомощность, и его характер большой дружелюбной и экспансивной собаки, норовящей подлезть к тебе, потереться, обслюнявить в ласке твои колени, она решила расстаться с ним и принять предложение руки и сердца своего прежнего приятеля, усердного и молчаливого гидролога Нешера Шершевского, специалиста по дождевой воде, умевшего угадывать ее желания. Нешер Шершевский подарил ей красивый шейный платок на день ее рождения по европейскому календарю, а на день рождения по еврейскому календарю, через два дня, – бледно‑зеленую восточную циновку. Он помнил даже дни рождения ее родителей.

## 2

Примерно за три недели до свадьбы Ярдены Шмуэль окончательно разуверился в своей работе на соискание академической степени магистра “Иисус глазами евреев” – в работе, к которой он приступил с огромным воодушевлением, весь наэлектризованный дерзким озарением, сверкнувшим в его мозгу при выборе темы. Но когда он начал вникать в детали и рыться в первоисточниках, то очень скоро обнаружил, что в его блестящей мысли нет, по сути, ничего нового, она появилась в печати еще до его рождения, в начале тридцатых годов, в качестве примечания к небольшой статье его выдающегося учителя профессора Густава Йом‑Това Айзеншлоса.

И в кружке социалистического обновления разразился кризис. Кружок собирался по средам, в восемь вечера, в задымленном кафе с низким потолком в одном из захудалых переулков квартала Егиа Капаим[[3]](#footnote-3). Ремесленники, слесари, электрики, маляры, печатники заглядывали сюда, чтобы сыграть в нарды, потому кафе и показалось кружковцам местом более‑менее пролетарским. Правда, маляры и мастера по ремонту радиоаппаратуры к столу социалистов не подсаживались, но случалось, что кто‑нибудь, сидевший через два стола, задавал вопрос или отпускал замечание. А то и наоборот – кто‑то из членов кружка вставал и бесстрашно подходил к столу игроков в нарды, чтобы разжиться у рабочего класса огоньком.

После долгих мучительных колебаний почти все члены кружка смирились с разоблачениями ужасов сталинского режима, прозвучавшими на двадцатом съезде компартии Советского Союза. Но были среди них и особо напористые, требовавшие пересмотреть не только приверженность Сталину, но и свое отношение к ленинской формулировке диктатуры пролетариата. Двое из товарищей зашли слишком уж далеко – идеи молодого Маркса они противопоставляли окованному бронзой учению зрелого Маркса. В то время как Шмуэль Аш пытался замедлить эрозию, четверо из шести его товарищей объявили, что выходят из кружка и создают отдельную ячейку. Среди четверки отщепенцев были и обе входившие в кружок девушки, без которых все остальное теряло смысл.

В том же месяце отец Шмуэля проиграл апелляцию, после того как несколько лет в нескольких судебных инстанциях сражался со своим давним партнером по небольшой хайфской фирме (“Шахаф баам”[[4]](#footnote-4), чертежи, картографирование, аэрофотосъемка). Родителям Шмуэля пришлось прекратить ежемесячное денежное вспомоществование, которое поддерживало его с самого начала учебы. Посему он спустился во двор, нашел за мусорными баками три‑четыре использованные картонные коробки, принес их в свою съемную комнату в квартале Тель Арза и изо дня в день беспорядочно заталкивал в эти коробки книги, одежду и прочий скарб. Но представления о том, куда ему отсюда податься, он не имел.

Несколько вечеров Шмуэль – мечущийся, разозленный пробуждением от зимней спячки медведь – кружил дождливыми улицами. Шагами, граничащими с тяжелым бегом, утюжил он центр Иерусалима, почти обезлюдевший из‑за холода и ветра. Несколько раз в наступивших сумерках застывал он под дождем в одном из переулков квартала Нахалат Шива и смотрел, не видя, на железные ворота дома, в котором больше не жила Ярдена. Временами ноги сами несли его, и он, тяжело шлепая по лужам, обходя перевернутые ветром мусорные баки, блуждал по отдаленным, незнакомым иерусалимским кварталам: по Нахлаот, по Бейт Исраэль, по Ахузе или по Мусраре.

Два‑три раза его лохматая, с вызовом выставленная вперед голова почти упиралась в бетонную стену, отделявшую Иерусалим израильский от Иерусалима иорданского.

Остановившись, он рассеянно изучал покореженные таблички, предупреждавшие его из дебрей ржавой колючей проволоки: “Стой! Перед тобой граница!”, “Осторожно, мины!”, “Опасно – ничейная земля!”. А также: “Внимание! Ты собираешься пересечь участок, простреливаемый вражескими снайперами!”

Глядя на эти таблички, Шмуэль испытывал некие сомнения, словно перед ним лежало разнообразное меню, из которого ему следовало выбрать что‑нибудь по своему вкусу.

Почти каждый вечер бродил он так, промокший до костей, дрожащий от холода и отчаяния, вода стекала со всклокоченной бороды, пока наконец, уставший и изнуренный, не доползал до своей кровати. Он легко уставал – возможно, из‑за увеличенного сердца. И опять тяжело поднимался с наступлением сумерек, натягивал одежду, не успевавшую толком просохнуть после вчерашних странствий, и опять ноги несли его к дальним окраинам города – к Талпиоту, к Арноне. И лишь когда он упирался в шлагбаум на въезде в кибуц Рамат Рахель и бдительный караульный освещал его карманным фонариком, Шмуэль приходил в себя, разворачивался и нервными частыми шагами, походившими на паническое бегство, устремлялся в обратный путь. По возвращении он торопливо съедал два кусочка хлеба с простоквашей, снимал промокшую одежду и, снова зарывшись в одеяло, долго и безуспешно пытался согреться. После чего засыпал и спал до наступления вечера.

Однажды ему приснилась встреча со Сталиным. Дело происходило в низкой задней комнате закопченного кафе, где собирался кружок социалистического обновления. Сталин поручил профессору Густаву Айзеншлосу избавить отца Шмуэля от всех неприятностей и убытков, а Шмуэль зачем‑то повел Сталина на обзорную площадку, что на крыше монастыря Дормицион[[5]](#footnote-5), венчающего Сионскую гору, откуда и показал угол Стены Плача, оставшейся в плену, по другую сторону границы, на территории Иерусалима иорданского. Шмуэлю никак не удавалось объяснить усмехающемуся из‑под усов Сталину, почему евреи отвергли Иисуса и почему они до сих пор сопротивляются и упорно поворачиваются к Нему спиной. Сталин назвал Шмуэля Иудой. В конце этого сна на секунду промелькнула и тощая фигура Нешера Шершевского, вручившего Сталину жестянку, внутри которой скулил щенок. Из‑за этого скулежа Шмуэль и проснулся – с мрачным ощущением, что его путаные объяснения только ухудшили дело, ибо вызвали у Сталина и насмешку, и подозрения.

За окном бесновались дождь и ветер. Оцинкованная лохань для стирки, висевшая снаружи на железной решетке балкона, глухо грохотала. Две собаки где‑то далеко от его дома – а возможно, и друг от друга – всю ночь надрывались в лае, порой переходившем в подвывающий скулеж.

Итак, Шмуэль утвердился в мысли уехать подальше от Иерусалима и попытаться найти себе не особо трудную работу в каком‑нибудь богом забытом месте, например ночным сторожем в Рамонских горах[[6]](#footnote-6), где, как он слышал, возводят новый город – прямо в пустыне. Но пока что ему пришло приглашение на свадьбу Ярдены. Похоже, что и она, и Нешер Шершевский, послушный ей гидролог, специалист по сбору дождевой воды, очень торопились встать под хупу[[7]](#footnote-7), даже до конца зимы не смогли продержаться. Шмуэль твердо решил преподнести им сюрприз, застать врасплох всю эту компанию и действительно принять это приглашение. А именно, вопреки всяческим условностям, он просто объявится там внезапно – ликующий, шумный, широко улыбающийся и похлопывающий всех по плечу нежданный гость, ворвется прямо в центр брачной церемонии, предназначенной лишь для узкого круга ближайших родственников и друзей, а потом искренне присоединится к последующей за церемонией вечеринке, и даже с радостью, и внесет свою лепту в культурную программу – свою знаменитую пародию на акцент и манеры профессора Айзеншлоса.

Однако в утро дня свадьбы Ярдены Шмуэль задохнулся в остром приступе астмы и потащился в поликлинику, где безуспешно пытались помочь ему посредством ингалятора и различных лекарств от аллергии. Когда ему стало хуже, из поликлиники его перевезли в больницу Бикур Холим.

Часы свадебного веселья Ярдены Шмуэль коротал в приемном покое. Потом, на всем протяжении брачной ночи, он ни на секунду не прекращал дышать с помощью кислородной маски. На следующий день он решил не откладывая покинуть Иерусалим.

## 3

В начале декабря, в день, когда в Иерусалиме пошел легкий снег пополам с дождем, Шмуэль Аш сообщил профессору Густаву Йом‑Тов Айзеншлосу и другим преподавателям (на кафедрах истории и философии религии) о прекращении своих занятий. Снаружи, по долине, перекатывались клочья тумана, напоминавшие Шмуэлю грязную вату.

Профессор Айзеншлос был человеком невысоким и плотным, в очках, чьи толстые линзы походили на донышки пивных стаканов, с прямыми четкими движениями, заставлявшими вспомнить энергичную кукушку, внезапно выскакивающую из дверцы стенных часов. Услышав о намерениях Шмуэля Аша, он был потрясен.

– Но как же это? Каким образом? Какая муха нас укусила? Иисус в глазах евреев! Ведь нашим глазам здесь, несомненно, откроется плодородное поле, какому нет равных! В Гемаре! В Тосефте![[8]](#footnote-8) В толкованиях наших мудрецов, благословенна их память! В народных традициях! В Средневековье! Мы, несомненно, собираемся открыть здесь нечто существенно новое! Ну? Что? Может быть, мы все‑таки потихоньку продолжим наши исследования? Вне всякого сомнения, мы немедленно откажемся от этой непродуктивной идеи – дезертировать в самом разгаре!

Сказал, подышал на стекла очков и энергично протер их скомканным носовым платком. Внезапно, протягивая руку чуть ли не для насильственного рукопожатия, произнес другим, слегка смущенным голосом:

– Но если у нас, не приведи Господь, возникли кое‑какие материальные затруднения, возможно, отыщется кое‑какой деликатный способ постепенной мобилизации на наши нужды некоторой скромной помощи?

И снова беспощадно, до легкого хруста костей сжал руку Шмуэля и гневно вынес приговор:

– Мы так быстро не отступимся! Ни от Иисуса, ни от евреев, ни от тебя тоже! Мы вернем тебя к твоему внутреннему долгу!

Выйдя из кабинета профессора Айзеншлоса, Шмуэль невольно улыбнулся, вспомнив студенческие вечеринки, где он сам всегда блистал в роли Густава Йом‑Тов Айзеншлоса, внезапно выскакивающего, подобно кукушке на пружинке, из дверцы старинных стенных часов и обращающегося, по своему обыкновению, с назиданием в голосе и в первом лице множественного числа даже к собственной жене в спальне.

В тот же вечер Шмуэль Аш напечатал объявление, в котором по случаю внезапного отъезда предлагал купить дешево небольшой радиоприемник (в бакелитовом корпусе) производства фирмы “Филипс”, портативную пишущую машинку “Гермес”, бывший в употреблении проигрыватель с набором пластинок (около двадцати): классическая музыка, джаз и шансон. Это объявление он повесил на пробковой доске у лестницы, ведущей в кафетерий в подвальном помещении здания “Каплан”[[9]](#footnote-9) в университетском кампусе. Однако из‑за нагромождения записок, объявлений и рекламы Шмуэль вынужден был повесить свой листок так, что он полностью закрыл предыдущее объявление, меньшее по размеру. Это была голубоватая бумажка, на которой Шмуэль, прикрепляя поверху свой листок, сумел заметить пять‑шесть строк, написанных четким и деликатным женским почерком.

Затем повернулся, чуть ли не подпрыгнув, и, резко выставив вперед свою курчавую баранью голову, словно пытающуюся оторваться от шеи, устремился к автобусной остановке у ворот кампуса. Но, пройдя сорок‑пятьдесят шагов, миновав скульптуру Генри Мура – крупную, неуклюжую, слегка зеленоватую железную женщину, она сидела на камне, опираясь на левую руку, закутанная, словно в саван, в грубую ткань, – Шмуэль вдруг резко развернулся и помчался обратно к зданию “Каплан”, к доске объявлений рядом с лестницей, ведущей в кафетерий. Короткие толстые пальцы Шмуэля поспешно приподняли его собственное объявление о распродаже, чтобы дать возможность прочитать, а затем еще раз прочитать то, что он сам скрыл от собственных глаз всего лишь парой минут ранее.

###### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

*Холостой студент гуманитарного факультета, чуткий собеседник, имеющий склонность к истории, может получить бесплатное жилье и скромную месячную оплату, если согласится каждый вечер в течение пяти часов составлять компанию инвалиду семидесяти лет, человеку просвещенному, обладающему широким образованием. Инвалид вполне способен обслужить себя самого и нуждается главным образом в беседе, а не в помощи. Для личного собеседования следует явиться в воскресенье – пятницу, между 4‑мя и 6‑ю часами пополудни, в переулок Раввина Эльбаза, 17, в квартале Шаарей Хесед (просьба обращаться к Аталии). В силу особых обстоятельств претендента попросят заранее представить письменное обязательство о сохранении тайны.*

## 4

Переулок Раввина Эльбаза в квартале Шаарей Хесед открывался на Долину Креста. Дом номер семнадцать стоял последним в конце переулка, там, где заканчивались в те дни квартал и город и начинались каменистые поля, простиравшиеся до развалин арабской деревни Шейх Бадер. Ухабистая дорога сразу же за последним домом превращалась в каменистую тропинку, неуверенно сбегавшую к долине, петлявшую из стороны в сторону, будто сожалея о том, что ее притягивает эта пустынная местность, и желая развернуться и возвратиться в обитаемые места. А тем временем дождь прекратился. Вершины западных холмов уже окутал свет сумерек, мягкий и соблазнительный, как благовонный аромат. Среди скал на противоположном склоне виднелось маленькое стадо овец с пастухом – закутанный в темную накидку, он сидел под скалой, укрывшись от порывов ветра. В вечернем свете, пробивавшемся сквозь облака, пастух, застыв, глядел с этого пустынного склона на окраинные дома на самом западном конце Иерусалима.

Сам дом, стоявший ниже уровня улицы, показался Шмуэлю Ашу будто вросшим в землю, провалившимся почти по окна в каменистую почву. Прохожему, глядевшему из переулка, дом казался широкоплечим коротышкой в темной шляпе с полями, на коленях что‑то ищущим в грязи. Две створки проржавевших железных ворот, уже давно покосившихся от собственной тяжести, ушли в землю, будто пустили корни. Так и стояли эти ворота не открытыми и не закрытыми. Расстояние между вросшими в почву створками позволяло кое‑как протиснуться внутрь. Над воротами висела проржавевшая железная арка с высеченной сверху шестиконечной звездой и квадратными буквами, вытянувшимися в шесть слов:

И придет в Сион Избавитель. Иерусалим ТОББ" А ТРА" Д[[10]](#footnote-10)

От ворот Шмуэль спустился по шести растрескавшимся каменным ступенькам разной длины и очутился в маленьком дворике, очаровавшем его с первого взгляда и пробудившем в нем странную тоску по месту, которое он никак не мог вспомнить. В сознании маячила, выводя из равновесия, смутная тень воспоминания, затуманенное отражение иных внутренних двориков из дней давно минувших – двориков, о которых не ведал он ни где находятся они, ни когда он их видел, но смутно знал, что были омыты не зимним, подобным нынешнему, а вовсе и летним светом. От этих неясных воспоминаний пробудилось и сердце, наполнилось и печалью, и негой, словно в ночи, в самой сердцевине тьмы зазвучала виолончельная струна.

Дворик был обнесен каменной стеной высотой в человеческий рост и вымощен каменными плитами, которые за долгие годы отполировались, истончились, обрели красноватый блеск, покрылись сетью серых нитей. Там и сям на этих плитах, словно рассыпанные монеты, сверкали кружочки света. Старая смоковница и виноградная беседка с разросшимися лозами затеняли весь двор. Настолько густыми и так тесно переплетенными были эти ветви, что даже сейчас, в пору листопада, лишь пригоршне мерцающих золотых монет света удалось пробиться сквозь листву, посверкивая на плитах, устилавших дворик. Казалось, то был не каменный дворик, а скрытый от глаз людских пруд, поверхность которого волновала легчайшая зыбь.

Вдоль ограды, у стен дома, на подоконниках пылали маленькие костры кроваво‑красной герани, герани розовой, фиолетовой, пурпурной. Герань выплескивалась из многочисленных ржавых кастрюль, из старых, отслуживших свое чайников, пробивалась сквозь глазницы керогазных конфорок, ветвилась из ведер, мисок, жестяных канистр и треснувшего унитаза. Все это было заполнено землей и возведено в ранг вазонов. Окна дома были забраны железными решетками и закрыты зелеными железными жалюзи. Стены были из иерусалимского светлого камня, обращенного своей грубой, нетесаной стороной к стоящему перед ними. А за домом, за каменным забором, тянулся плотный занавес из кипарисов, чьи кроны в закатном свете казались не зелеными, а почти черными.

Надо всем этим нависала тишина холодного зимнего вечера. Это была не та прозрачная тишина, что призывает и тебя присоединиться к ней, но равнодушное, из древних времен, безмолвие, разлегшееся спиной к тебе.

Дом венчала скатная черепичная крыша. Со стороны фасада посреди ската возвышалась небольшая мансарда, и ее треугольная конструкция напомнила Шмуэлю палатку, распиленную надвое. Мансарда тоже была крыта выцветшей черепицей. Шмуэлю вдруг очень захотелось подняться в эту мансарду, поселиться в ней, закрыться там со стопкой книг, с бутылкой красного вина, с печкой и теплым одеялом, с патефоном и несколькими пластинками и не выходить оттуда. Ни на лекции, ни на дискуссии, ни для любви. Укрыться в мансарде и никогда ее не покидать. По крайней мере, пока снаружи зима.

Весь фасад дома был опутан ветвящимся страстоцветом, вцепившимся своими полированными коготками в шероховатые поверхности нетесаного камня. Шмуэль пересек двор, замешкался, разглядывая круглые монетки света, подрагивавшие на плитах, сеть серых прожилок, испещрявшую красноватый камень. Остановился перед выкрашенной в зеленый цвет двустворчатой железной дверью с выделявшейся на ней резной головой слепого льва, служившей дверным молотком. Челюсти льва плотно сжимали большое железное кольцо. В центре правой створки двери рельефные буквы сообщали:

Дом Иехояхина Абрабанеля ХИ"В[[11]](#footnote-11) дабы возвестить, что праведен Господь

Под рельефной надписью двумя тонкими полосками клейкой бумаги была прикреплена небольшая записка, выполненная почерком, уже знакомым Шмуэлю из объявления в здании “Каплан”, – объявления, предлагавшего ему “личные отношения”. Четким и деликатным женским почерком, без союза “и” между двумя именами, разделенными большим пробелом, было написано:

Аталия Абрабанель Гершом Валд

*Осторожно – разбитая ступенька сразу за дверью.*

## 5

– Идите прямо, будьте любезны. Потом поверните направо. Продвигайтесь, пожалуйста, навстречу источнику света – и так вы попадете ко мне, – донесся из недр дома немолодой мужской голос.

Голос глубокий, слегка шутливый, словно человек загодя ожидал прихода этого гостя, этого и никакого другого, в это время и ни в какое иное, и сейчас он праздновал свою правоту и наслаждался воплощением своих ожиданий. Входная дверь не была заперта.

Шмуэль Аш споткнулся прямо у входа, поскольку предполагал ступеньку вверх, а не ступеньку вниз. По сути, там и вовсе была не ступенька, а хлипкая деревянная скамеечка. И как только нога гостя ступила на ее край, скамеечка вознеслась вверх подобно рычагу, едва не опрокинув того, кто посмел возложить на нее всю тяжесть своего веса. Проворство – вот что спасло Шмуэля от падения: как только скамеечка под ним одним своим краем взметнулась вверх, он широким прыжком приземлился на каменном полу. Курчавые космы метнулись вперед, увлекая Шмуэля за собой, в глубину коридора, погруженного во тьму, ибо выходящие в него двери были закрыты.

Чем дальше Шмуэль пробирался в недра дома, тем решительней прокладывал ему дорогу его собственный лоб, устремленный вперед подобно голове плода, прокладывающего себе путь по родовому каналу, и Шмуэль все сильнее ощущал, что пол коридора не горизонтален, а идет под уклон, словно здесь русло пересыхающего ручья, а не темный коридор. Ноздри Шмуэля уловили дуновение приятного запаха, запаха свежевыстиранного белья, крахмала, деликатной уборки и глажки паровым утюгом.

В конце от коридора ответвлялся еще один, покороче, коридорчик, и из тупика, в который он упирался, проистекал свет, тот самый свет, что посулил Шмуэлю шутливый голос. Свет привел Шмуэля Аша в уютную комнату‑библиотеку с высокими потолками, металлические жалюзи были плотно закрыты, а уютное сиреневое пламя керосинового обогревателя делилось своим теплом. Сиротливый электрический свет исходил от горбатой настольной лампы, нависавшей над грудой книг и бумаг и направленной прямо на них, будто ради освещения этих книг пренебрегли остальным пространством библиотеки.

За этим теплым кругом света, между двумя железными тележками, доверху загруженными книгами, папками, скоросшивателями и толстыми тетрадями, сидел и разговаривал по телефону старый человек. На его плечи было наброшено шерстяное одеяло, словно был он завернут в талит[[12]](#footnote-12). Человеком он был уродливым, длинным, ширококостным, искривленным, сгорбленным, острый нос его походил на клюв птицы, изнывающей от жажды, а изгиб подбородка напоминал косу. Седые волосы, тонкие, почти женственные, обильно, широким водопадом серебряных струй ниспадали на плечи. Глаза прятались за горными хребтами седых бровей, казавшихся сделанными из шерстяного инея. И его гус тые эйнштейновские усы тоже выглядели бугорком снега. Не отрываясь от телефонного разговора, старик уколол вошедшего гостя острым взглядом. Он сидел, наклонив заостренный подбородок в сторону левого плеча, левый глаз закрыт, в то время как правый широко открыт – голубой, круглый и как‑то неестественно огромный. По лицу его разлилось выражение, подобное лукавому подмигиванию или язвительному порицанию, словно в один миг старик уже раскусил характер стоявшего перед ним парня и разгадал все его намерения. Спустя мгновение взгляд инвалида погас, как выключенный прожектор, он удостоверил факт появления гостя легким наклоном головы и отвел глаза в сторону. И все это время он ни на минуту не переставал говорить по телефону, явно споря с собеседником: – Ведь тот, кто вечно подозревает, кто постоянно предполагает, что все кругом его обманывают и вся его жизнь – бесконечное шествие в обход расставленных ему ловушек… Прости меня на секунду, тут у меня какой‑то посыльный… Или это, возможно, какой‑то мастер, которого я вообще не приглашал?

С этими словами он прикрыл телефонную трубку ладонью, бледные пальцы в свете настольной лампы выглядели почти прозрачными, пальцами привидения. Неожиданно лицо, изборожденное морщинами подобно стволу оливкового дерева, озарилось, под густыми седыми усами мелькнула озорная улыбка, словно старику уже удалось заманить в ловушку нежданного гостя, еще не осознавшего, что западня захлопнулась.

– Садитесь. Здесь. Ждите.

И, убрав ладонь с телефонной трубки, продолжил, по‑прежнему склонив к левому плечу седую гриву:

– Человек преследуемый – либо потому, что собственными руками превратил всех в преследователей, либо потому, что несчастное его воображение кишит легионами врагов, замышляющих козни, – так или иначе, но такой человек, в дополнение к собственным несчастьям, обладает и неким моральным изъяном: ведь существует изначальная нечестность в упоении чувством гонимости как таковым. К слову, отсюда вытекает, что страдание, одиночество, несчастные случаи, болезни подстерегают подобного человека в большей степени, чем других людей, а именно всех нас. По своей природе человек недоверчивый, всех подозревающий – он мечен и предназначен для несчастий. Подозрительность подобна кислоте, разъедающей сосуд, ее содержащий, и пожирает самого такого человека. Днем и ночью остерегаться всего рода человеческого, беспрерывно строить комбинации, чтобы увильнуть от злых козней и отразить заговоры, изыскивать хитроумные способы загодя учуять сеть, раскинутую для его ног, – все это и есть главнейшие слагаемые ущербности. Именно они исторгают человека из мира. Прости меня, будь добр, только на минутку…

Он снова прикрыл телефонную трубку своими трупными пальцами и обратился к Шмуэлю Ашу голосом ироническим, голосом низким, обветшавшим, слегка обожженным:

– Подождите, будьте любезны, несколько минут. А пока вы вправе слушать мой разговор. Хотя юноша, подобный вам, конечно, проживает свою жизнь на совершенно иной планете?

Не дожидаясь ответа, старик продолжил свою проповедь:

– Тем более что, в сущности, подозрительность, эта радость преследуемых, и даже ненависть ко всему роду человеческому, вместе взятые, куда менее убийственны, чем любовь ко всему роду человеческому: любовь ко всему человечеству источает известный с древнейших времен запах полноводных рек крови. Бесплодная ненависть, как по мне, менее ужасна, чем бесплодная любовь: любящие все человечество, рыцари‑исправители мира, те, кто в каждом поколении восстают против нас, дабы спасти нас[[13]](#footnote-13), и нет никого, кто бы спас нас из их рук. Ведь, в сущности, они – сама доброта. Ладно. Ты прав. Не будем сейчас в это углубляться. Пока мы с тобой разбираемся со всяческими спасениями и утешениями, у меня тут воплотился в явь лохматый парень с бородой пещерного человека, здоровяк в армейской куртке и армейских ботинках. Возможно, он явился, чтобы мобилизовать и меня? Итак, давай поставим здесь запятую. Мы ведь с тобой вернемся к этой теме и обсудим все это и завтра, и послезавтра. Поговорим, поговорим, друг мой, несомненно поговорим. И ведь с очевидной необходимостью поговорим. Что еще будут делать подобные нам, если не разговоры разговаривать? Займутся охотой на китов? Соблазнят царицу Савскую? И кстати, по поводу соблазнения царицы Савской: у меня есть собственное толкование, толкование антиромантическое, в сущности, довольно криминальное, относящееся к стиху “Любовь покрывает все грехи”[[14]](#footnote-14). А вот стих “Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее”[[15]](#footnote-15) напоминает мне всегда звуки возвещающих беду пожарных сирен. Передай, будь добр, привет дорогой Женечке, обними и поцелуй ее от моего имени, обними и поцелуй свою Женю, как я это делаю, а не своим чиновничьим способом. Скажи ей, что мне очень‑очень недостает сияния лица ее. Нет, не сияния твоего лица, дорогой, ведь твое лицо – как лицо поколения. Да. До встречи как‑нибудь. Нет, не знаю точно, когда вернется Аталия. Она – сама по себе, и я тоже по ее. Да. До свидания. Спасибо. Аминь, по слову Твоему воистину, да будет воля Твоя.

И с этими словами повернулся к Шмуэлю, осторожно и не без колебаний усевшемуся тем временем на плетеный стул, казавшийся ему довольно шатким, едва ли способным вынести бремя его неуклюжего тела. Внезапно хозяин прокричал во весь голос:

– Валд!

– Простите?

– Валд! Валд! Меня зовут Валд! А вы кто? Халуц?[[16]](#footnote-16) Халуц, чей дом кибуц? Прямо с высот Галилейских соизволили спуститься к нам? Или, наоборот, поднялись из степей Негева?

– Я здешний, из Иерусалима, точнее – из Хайфы, но учусь здесь. Точнее, не учусь, а учился. До сих пор.

– Будь добр, мой юный друг: учишься или учился? Из Хайфы или из Иерусалима? С гумна или с давильни?[[17]](#footnote-17)

– Прошу прощения. Сейчас все объясню.

– И вдобавок ко всему этому ты, несомненно, личность положительная? Нет? Личность просвещенная? Прогрессивная? Стоишь за исправление мира и водворение ценностей морали и справедливости? Идеофил‑идеалист, как все вы? Не так? Отверзни уста свои и разъясни речи твои словом, сказанным прилично[[18]](#footnote-18).

Сказал и кротко дожидался ответа, склонив голову к левому плечу, один глаз прищурен, а второй широко открыт. Как человек, терпеливо дожидающийся поднятия занавеса и начала представления, на которое он, впрочем, не возлагает никаких надежд, и ему ничего не остается, как, набравшись терпения, наблюдать за тем, что персонажи творят друг с другом: как низвергают друг друга на самое дно безысходности, если есть у нее дно, и как именно каждый из персонажей обрушивает на себя несчастье, уготованное специально для него.

Итак, Шмуэль начал заново, на этот раз – с особой осторожностью. Он назвал свое имя и фамилию; нет, нет, насколько ему известно, у него нет никаких родственных связей с Шоломом Ашем, известным писателем, его семья – это служащие и землемеры из Хайфы, а он учится, вернее – учился, здесь, в Иерусалиме, история и религиоведение, хотя сам он человек нерелигиозный, категорически – нет, можно сказать, что даже немного наоборот. Но каким‑то образом именно личность Иисуса из Назарета… и Иуды Искариота… и духовный мир священников и фарисеев, оттолкнувших Иисуса… и то, как в глазах евреев Назарянин очень быстро обратился из преследуемого в символ преследования и угнетения… И все это, по его мнению, как‑то связано с судьбами великих исправителей общества в последних поколениях… Ладно, это довольно длинная история, он надеется, что никому здесь не помешает, он пришел по объявлению, по объявлению касательно *предложения об установлении личных отношений,* которое он обнаружил случайно на доске в здании “Каплан”. У входа в студенческий кафетерий.

Услышав эти слова, инвалид внезапно выпрямился, уронил на пол шотландский шерстяной плед, полностью явив свое длинное, искривленное тело, несколькими сложными движениями вильнув его верхней половиной, обеими руками с силой сжал поручни кресла и действительно поднялся и стоял, странно накренившись, хотя и заметно было, что не ноги, а крепкие руки, обхватившие спинку кресла, силой своих мышц удерживали вес его тела. Костыли, прислоненные к столу, он предпочел не трогать. Был он крепким, согнутым, горбатым, высоченным, голова его почти касалась низкой люстры, и, стоя, он был подобен стволу древнего оливкового дерева. Ширококостный, жилистый, с большими ушами – и вместе с тем почти царственный со своей седой гривой, со снежными холмами бровей, с густыми усами, сверкавшими белизной. Глаза Шмуэля на миг встретились с глазами старика, и он подивился тому, что, в отличие от шутливого голоса и иронического тона, голубые, подернутые пеленой глаза хозяина, казалось, полны скорби и отчаяния.

Затем старик обеими ладонями оперся о столешницу, снова доверив мышцам рук всю тяжесть своего тела, и начал медленно‑медленно продвигаться вдоль кромки письменного стола, прилагая невероятные усилия, словно огромный осьминог, которого выбросило на сушу, и теперь он изо всех сил борется, чтобы сползти по уклону берега и добраться до воды. Так, посредством рук, передвигался он от кресла вдоль стола, пока не добрался до располагавшейся под окном плетеной кушетки с матрасом, этакого своеобразного седалища, в котором можно преудобно развалиться. Здесь, вне круга света, отбрасываемого лампой на письменный стол, старик затеял серию сложных движений – всевозможные наклоны, извивания, перемещения рук, – пока ему не удалось уложить свое большое тело в эту колыбель. И тут же решительно заявил шутливым голосом:

– А! Объявление! Ведь действительно есть объявление! И я со своей поспешностью сказал: “Пожалуйста!” Но, по сути, все это только между тобой и ею. А мне нет дела до ее тайн. А покамест, если тебе это подходит, ты вполне можешь сидеть здесь и дожидаться ее до отчаяния. А какой клад ты скрываешь там? Под своей бородой? Ну‑ну, я ведь пошутил. Пожалуйста, не суди меня строго, если я сейчас, с твоего позволения, немного вздремну. Как ты убедился воочию, речь идет о мышечной атрофии – я приближаюсь к полной атрофии. То есть я приближаюсь, но уже не двигаюсь. А ты, прошу тебя, садись, садись, парень, не бойся, ничего плохого с тобой тут не случится. Садись, можешь и книгу выбрать себе, а то и две, почитать, пока она не вернется, если и ты не предпочтешь немного подремать. Ну, посиди пока. Садись, садись уже!

И тут он замолчал. А возможно, и вправду закрыл глаза, вытянувшись на лежанке, завернувшись, словно огромный кокон шелковичного червя, в дожидавшееся его на новом месте клетчатое шерстяное одеяло, во всем походившее на прежнее, сползшее на пол, когда хозяин дома привстал в своем кресле.

Шмуэль был немного удивлен пространными уговорами господина Валда, настойчиво предлагавшего ему сесть, хотя хозяину было бы достаточно и одного взгляда в сторону гостя, чтобы убедиться, что Шмуэль все это время сидит, не поднявшись ни разу со своего места. На стене напротив письменного стола, между рядами книжных полок, чуть кривовато висел календарь с рисунком Реувена[[19]](#footnote-19): долина, холмы, масличные деревья, руины и петляющая горная тропинка. Шмуэль внезапно испытал непреодолимое побуждение встать и выровнять покосившуюся картинку. После этого он вернулся на место. Гершом Валд молчал – возможно, дремал и не видел. А возможно, глаза под кустистыми седыми бровями все еще были открыты и старик все видел, но действия Шмуэля одобрил. Поэтому и промолчал.

## 6

Она появилась из другой двери, существования которой Шмуэль просто не заметил. По сути, это была не дверь, а спрятавшийся за восточным занавесом из вертикальных рядов бусин проход в перегородке из книжных шкафов. Войдя, она сразу же зажгла верхний свет, и в один миг все пространство библиотеки наполнилось ярким электрическим сиянием. Тени отступили за книжные ряды.

Стройная женщина, лет сорока пяти, она двигалась по комнате так, словно хорошо знала силу очарования своей женственности. Одета она была в светлое узкое платье до щиколоток и в красный узкий свитер. Длинные темные волосы, мягко соскользнув с плеча, покоились на возвышенности ее левой груди. Под струей волос раскачивались две большие деревянные серьги. Ее тело чудесно вписывалось в платье. Туфли на каблуках подчеркивали легкость шагов, когда она скользила от двери к плетеной колыбели господина Валда. Там она остановилась, положив одну руку на бедро, как строгая крестьянка, поджидающая замешкавшуюся козу. Подняв чуточку раскосые карие глаза на глядевшего на нее Шмуэля, она не улыбнулась, но на лице ее появилось выражение некоторой симпатии и заинтересованности с легким оттенком вызова. Как будто спрашивала: “Ну и чего же ты хочешь? Что за сюрприз приготовил сегодня?” Как будто хотела сказать, что хотя пока еще она не улыбается, но улыбка вполне возможна и, безусловно, вполне вероятна.

Она принесла с собой легкий аромат фиалок, но также и смутное эхо уютных запахов стирки, крахмала, разогретого парового утюга, уловленных ноздрями Шмуэля, когда он двигался по коридору меж закрытыми дверьми.

Шмуэль забормотал:

– По‑видимому, я явился в не совсем удобное для вас время? – И быстро добавил: – Я по объявлению.

Она опять обратила на него уверенные в своей силе карие глаза и принялась рассматривать с интересом и даже с удовольствием, заставив его потупиться. Исследовала взглядом его буйную бороду, подобно тому, как неспешно разглядывают разлегшегося зверя, и затем кивнула, но не ему, а господину Валду, словно полностью соглашаясь с первым впечатлением. Шмуэль Аш бросил на нее быстрый взгляд, потом еще и снова опустил глаза, однако успел заметить резкую складку, прочерченную от ее носа к середине верхней губы. Складка показалась ему необычно глубокой и вместе с тем трогательной и соблазнительной. Женщина освободила один из стульев от груды книг и уселась, скрестив ноги и поправив подол платья.

На вопрос, явился ли он сюда в неподходящее время, отвечать она не торопилась, как будто решила изучить этот вопрос со всех сторон, пока не сможет с полной ответственностью предложить приемлемый и обоснованный ответ. Наконец сказала:

– Ждать вам пришлось долго. Наверняка вы уже побеседовали.

Шмуэля поразил ее голос, влажный и звучавший как бы с неохотой и вместе с тем деловито. Уверенно. Она не спрашивала, а будто подводила итоги проведенным наедине с собой вычислениям.

Шмуэль сказал:

– Ваш муж предложил мне дождаться вас. Из объявления я понял, что…

Господин Валд открыл глаза и вмешался в разговор, обратившись к женщине:

– Он говорит, что его зовут Аш. На букву “алеф”, как нам следует надеяться[[20]](#footnote-20). – И затем сказал уже Шмуэлю, словно поправляя его, как терпеливый учитель поправляет ученика: – Я не муж этой госпожи. Не имею такой чести и удовольствия. Аталия моя покупательница.

И, выдержав паузу, дабы Шмуэль погрузился в полное изумление, господин Валд соизволил пояснить:

– Покупательница не в смысле клиент или потребитель, а в смысле владычица[[21]](#footnote-21). Подобно тому, как сказано в Библии: “Владыка неба и земли”[[22]](#footnote-22). Или, скажем: “Вол знает владетеля своего”[[23]](#footnote-23).

Аталия сказала:

– Ладно продолжайте сколько хотите, мне кажется, вы оба наслаждаетесь.

Эту фразу она произнесла без улыбки и даже без запятой между “ладно” и “продолжайте”. Но ее теплый голос и на этот раз словно обещал Шмуэлю, что все еще открыто, если только он не перестарается и не нарвется на насмешку.

Она задала несколько коротких вопросов, один из которых настойчиво повторила, переформулировав, поскольку ответ ее не удовлетворил. Затем немного помолчала и после паузы сказала, что у нее остались вопросы, требующие прояснения.

Господин Валд весело сказал:

– Наш гость, наверное, голоден и томим жаждой! Ведь он явился к нам прямо с вершин Кармеля! Два‑три апельсина, кусок пирога, стакан чая способны совершить здесь чудеса!

– Вот вы вдвоем и продолжайте совершать чудеса, а я пойду и поставлю чайник.

Улыбка, не спешившая коснуться ее губ, пробралась в голос.

Сказала, повернулась и исчезла в проеме, через который вошла и которого Шмуэль Аш не замечал до ее появления. Когда она выходила, бедра ее колыхнули восточную занавеску из бусин, скрывавшую проход. И после ее исчезновения занавеска не сразу успокоилась, а какое‑то время продолжала волнообразные колыхания и даже издавала то ли журчание, то ли шелест, и Шмуэль надеялся, что звуки эти не затихнут слишком скоро.

## 7

Случается иногда, что жизнь в своем течении замедляется, запинается, подобно тонкой струе воды, текущей из водостока и прокладывающей себе узкое русло в земле. Струя сталкивается с неровностями почвы, задерживается, растекается ненадолго небольшой лужицей, колеблется, нащупывает возможность прогрызть кочку, перекрывающую дорогу, или стремится просочиться под ней. Из‑за препятствия вода разветвляется и продолжает свой путь тремя или четырьмя тонкими усиками. Или отступает, и земля поглощает ее. Шмуэль Аш, чьи родители разом потеряли накопленные за всю жизнь сбережения, чья научная деятельность провалилась, чья учеба в университете прервалась, а возлюбленная взяла и вышла замуж за своего прежнего приятеля, решил в итоге принять работу, предложенную ему в доме по переулку Раввина Эльбаза. В том числе “условия пансиона”, как и очень скромную месячную плату. Несколько часов в день он будет составлять компанию инвалиду, а остальное время свободен. И там была Аталия, почти вдвое старше его, и тем не менее он испытывал легкое разочарование каждый раз, когда она выходила из комнаты. Шмуэль пытался уловить нечто вроде дистанции или различия между ее словами и голосом. Слова были уничижительными и порой язвительными, но голос был теплым.

Спустя два дня он освободил свою комнату в квартале Тель Арза и перебрался в дом, окруженный мощеным двором, в тени смоковницы и виноградных лоз, – в дом, который очаровал его с первого взгляда. В пяти картонных коробках и в старом вещевом мешке он перенес свои пожитки, книги, пишущую машинку и свернутые в трубку плакаты с героями кубинской революции и распятым Иисусом, умирающим в объятиях Своей Матери. Под мышкой он принес проигрыватель, в другой руке держа сверток с пластинками. Во второй раз он не споткнулся о вознесшуюся под его ногой скамеечку за дверью, а мягко и осторожно перешагнул через нее.

Аталия Абрабанель описала его обязанности и привычки обитателей дома. Она показала ему железную винтовую лестницу, поднимавшуюся из кухни в его мансарду. Стоя у подножия этой лестницы, она рассказывала Шмуэлю о порядке его работы, о рутине кухни и стирки; одна ее рука с расставленными пальцами покоилась на бедре, в то время как другая вспархивала к его свитеру, выпалывала из рукава то соломинку, то сухой листок, запутавшийся в шерсти. Коротко, деловито и вместе с тем голосом, вызвавшим в воображении Шмуэля теплую темную комнату, она говорила:

– Смотри. Вот как обстоит дело. Валд – зверь ночной: спит всегда до полудня, поскольку бодрствует по ночам вплоть до раннего утра. Каждый вечер, с пяти до десяти или до одиннадцати, ты будешь беседовать с ним в библиотеке. И это более‑менее все твои обязанности. Ежедневно, в половине пятого, идешь в библиотеку, заправляешь керосином обогреватель, зажигаешь. Затем кормишь рыбок в аквариуме. Нет нужды напрягаться в поисках тем для беседы – он сам позаботится о том, чтобы постоянно снабжать вас темами для ваших разговоров, хотя ты наверняка очень скоро убедишься, что он из тех, кто говорит потому, главным образом, что не может вынести ни минуты молчания. Не бойся спорить с ним, возражать ему, наоборот, он пробуждается к жизни, именно когда с ним не соглашаются. Как старый пес, у которого все еще есть нужда в чужаке, чтобы обозлиться и разразиться лаем, а изредка и куснуть. Правда, игриво. Вы оба можете пить чай сколько угодно: вот тут стоит чайник, а здесь – заварка и сахар, а там – коробка с бисквитами. Каждый вечер в семь часов ты разогреваешь кашу, которая всегда будет ждать тебя под фольгой на электрической плитке, и ставишь перед ним. Обычно он проглатывает еду быстро и с аппетитом, но если вдруг удовлетворится несколькими ложками или вообще откажется есть, ты на него не дави. Просто спроси, можно ли уже убрать поднос, и поставь все как есть на кухонный стол. В туалет он в состоянии добираться самостоятельно, на костылях. В десять часов обязательно напомни ему про лекарства. В одиннадцать или даже чуть раньше одиннадцати поставь на его письменный стол термос с горячим чаем на ночь, а потом можешь быть свободен. Разве что заскочи на минутку в кухню, вымой тарелку, чашку и поставь все в сушилку над раковиной. По ночам он обычно читает и пишет, но утром почти всегда рвет написанное на мелкие куски. Если он в комнате один, то любит иногда разговаривать с самим собой. Громко диктовать себе или даже спорить с собой. Или часами говорить по телефону с кем‑нибудь из своих старинных оппонентов. Ты, если услышишь невзначай, как он повышает голос не в твои рабочие часы, – не обращай внимания. Изредка случается, что ночью он громко рыдает. Ты к нему не подходи. Предоставь его самому себе. А что касается меня… – На мгновение в ее голосе приоткрылась крохотная щель неуверенности, но так же мгновенно и затянулась. – Неважно. Иди сюда. Смотри. Здесь газ. Здесь мусорное ведро. Электрическая плитка. Здесь сахар и кофе. Бисквиты. Печенье. Сухофрукты. В холодильнике есть молоко, сыр и немного фруктов и овощей. Здесь наверху – консервы: мясо, сардины, горошек и кукуруза. Некоторые еще с осады Иерусалима сохранились. Тут шкаф с инструментами. Вот электрические пробки. Здесь хлеб. Напротив нас живет соседка, пожилая женщина Сара де Толедо; каждый день, в полдень, она приносит господину Валду вегетарианский обед, а под вечер ставит на электрическую плитку приготовленную дома кашу. Мы ей за это платим. Каши вполне может хватить и тебе. В обед позаботься о себе сам, неподалеку есть маленький вегетарианский ресторан, на улице Усышкина[[24]](#footnote-24). Так, а вот здесь – корзина для белья. По вторникам к нам приходит домработница Белла. Если тебя это устроит, Белла может и тебе постирать и немного прибраться в твоей комнате без дополнительной оплаты. Почему‑то один из твоих предшественников до смерти боялся Беллы. Понятия не имею почему. Твои предшественники явно занимались поисками самих себя. Не знаю, что им удалось найти, но ни один из них не задержался здесь дольше нескольких месяцев. Все свободные часы наверху в мансарде поначалу их радовали, но потом тяготили. Наверное, и ты пришел сюда уединиться для поисков самого себя. Или чтобы творить новую поэзию. Можно подумать, что убийства и пытки уже прекратились, можно подумать, что мир обрел здравый смысл, освободился от страданий и только и ждет, что явится наконец‑то какая‑то новая поэзия. Вот здесь всегда есть чистые полотенца. А это моя дверь. И чтобы у тебя даже в мыслях не было искать меня. Никогда. Если тебе что‑нибудь понадобится, если возникнет проблема, ты просто оставь мне записку здесь на столе, и я со временем восполню все недостающее. И не смей бегать ко мне от одиночества или чего еще, как твои предшественники. Этот дом, похоже, вдохновляет одиночество. Но я решительно вне игры. Мне нечего предложить. И еще кое‑что: когда Валд один, он не только разговаривает сам с собой, но иногда и кричит – зовет меня по ночам, зовет людей, которых уже нет, упрашивает, умоляет их о чем‑то. Возможно, он станет звать и тебя. Это случается с ним обычно по ночам. Постарайся не обращать на это внимания, просто повернись на другой бок и спи дальше. Твои обязанности в этом доме четко определены: с пяти до одиннадцати, и ночные крики Валда в них не входят. Как и другие вещи, которые, возможно, иногда здесь случаются. Держись подальше от всего, что тебя не касается. Вот, чуть не забыла: возьми ключи. Не потеряй. Этот ключ от дома, а вот этот – от твоей комнаты в мансарде. Разумеется, ты волен приходить и уходить вне своих рабочих часов, но ни при каких условиях тебе нельзя приводить к нам никаких гостей. Или гостью. Этого – нельзя. Здесь у нас не дом открытых дверей. А сам ты, Аш? Кричишь иногда по ночам? Слоняешься по дому во сне? Нет? Неважно. Вопрос снимается. И еще кое‑что: вот здесь ты подпишешься, что обязуешься не говорить о нас. Ни при каких обстоятельствах. Не передавать никаких подробностей. Даже своим близким. Ты просто никому не рассказываешь о том, чем ты у нас занимаешься. И если у тебя не будет другого выбора, то можешь сказать, что сторожишь дом и потому живешь бесплатно. Я ничего не забыла? Или, возможно, ты? Хочешь попросить? Или спросить? Возможно, я немного тебя напугала.

Пару раз во время ее монолога Шмуэль пытался заглянуть ей в глаза. Но, наткнувшись на ледяную предупреждающую искру, быстро отводил взгляд. На этот раз он решил не уступать. Он умел улыбаться женщинам с очаровательной юношеской непосредственностью и придавать своему голосу своеобразный оттенок застенчивости и нерешительности, столь трогательно несоответствовавший его крупному телу и неандертальской бородище. Нередко его воодушевлению в сочетании с беззащитной застенчивостью, подернутой дымкой вековой печали, и в самом деле удавалось проложить дорогу к женским сердцам.

– Только один вопрос. Личный? Можно? Какие отношения или родственные узы связывают вас с Валдом?

– Да ведь он уже на это ответил: я за него отвечаю.

– И еще один вопрос. Но вы, по правде, не обязаны отвечать мне.

– Спрашивай. Но это будет последний вопрос на сегодня.

– Абрабанель? Такая царственная фамилия?[[25]](#footnote-25) Не имею права любопытствовать, но нет ли случайно какой‑то связи с человеком по имени Шалтиэль Абрабанель? Помнится мне, что в Иерусалиме в сороковые годы был некий Шалтиэль Абрабанель. Член правления Сохнута? Или Национального комитета? Мне кажется, что он единственный из них выступал против создания государства? Или выступал только против линии Бен‑Гуриона? Я что‑то помню, но смутно: юрист? востоковед? Иерусалимец в девятом поколении? Или в седьмом? Он был, как мне кажется, чем‑то вроде оппозиции в количестве одного человека, и после этого Бен‑Гурион выбросил его из руководства, чтобы не мешал ему? Возможно, я спутал разных людей?

Аталия не торопилась с ответом. Она знаком предложила ему подняться по винтовой лестнице и сама поднялась следом, встала в дверях мансарды, привалившись спиной к косяку. Левое бедро, чуть выставленное вперед, круглилось небольшим холмом, вытянутая рука упиралась в противоположный косяк, преграждая Шмуэлю путь к отступлению от мансарды к извилинам лестницы. И, словно пробившись сквозь низкое облако, в уголках ее глаз появилась, а затем охватила и губы обращенная внутрь страдальческая улыбка, но, как показалось Шмуэлю, в этой улыбке присутствовали, возможно, и удивление, и чуть ли не признательность. Но улыбка тотчас погасла, и лицо стало непроницаемым, будто со стуком захлопнулась дверь.

Она казалась ему красивой и притягательной, и все же было в ее лице нечто странное, ущербное, нечто, напоминавшее ему бледную театральную маску или выбеленное лицо мима. Почему‑то в этот момент глаза Шмуэля наполнились слезами, и он поспешно отвернулся, устыдившись своих слез. Уже начав спускаться по винтовой лестнице, спиной к нему, она сказала:

– Это мой отец.

И прошло еще несколько дней, пока он снова увидел ее.

## 8

Так отныне открывалась новая страница в жизни Шмуэля Аша. Временами его охватывало острое желание разыскать Ярдену, на час‑другой умыкнуть ее у мужа, собирателя дождевой воды Нешера Шершевского, с воодушевлением прочитать ей лекцию о своем нынешнем отшельническом существовании, настолько отличающемся от его прошлой жизни, будто он и в самом деле переродился; он страстно желал доказать Ярдене, что теперь‑то ему удалось обуздать все свои недостатки, свою лихорадочность, свою болтливость, свою немужскую склонность лить слезы, свою вечную нетерпеливость, что вот наконец‑то и он превращается в человека спокойного и организованного, не хуже подысканного ею мужа.

Или не рассказывать ничего, а схватить Ярдену за руку и привести сюда, показать ей зимний двор с отполированными каменными плитами и этот дом под сенью кипарисов, смоковницы и виноградных лоз, маленькую мансарду, где он теперь живет в уединении и размышлениях, в тени бородатых портретов вождей кубинской революции, показать библиотеку господина Валда, где они беседуют несколько часов в день и где он постепенно учится терпеливости и внимательности. Хорошо бы представить Ярдене и своего наставника‑инвалида, долговязого, искривленного, обладателя эйнштейновской седой гривы и густых белоснежных усов, и женщину, красивую и недостижимую, чьи поразительные глаза таят насмешку, но теплый голос, словно идущий из самой глубины, – голос этот отрицает насмешку.

Разве сможет Ярдена не полюбить нас?

И кто знает, вдруг в ней даже пробудится желание оставить свои бочки с дождевой водой и присоединиться к нам?

Но ведь Аталия взяла с него обязательство не приводить гостей, более того – не рассказывать никому о том, что он делает в этом доме.

Глаза его привычно набухли слезами. Разозлившись и на свои слезы, и на свои грезы, Шмуэль сбросил башмаки и прямо в одежде забрался в постель. Свободного времени у него здесь было в избытке. А снаружи только ветер и дождь. Ты хотел полного одиночества, жаждал вдохновения, пустых пространств свободного времени и полного молчания – все это здесь тебе дано. Все в твоих руках. На беленом растрескавшемся потолке мансарды прямо над кроватью раскинулись моря и континенты. Час за часом ты можешь лежать на спине, уставившись на архипелаг облезшей штукатурки, на острова, рифы, заливы, вулканы, фьорды, и время от времени какое‑нибудь мелкое насекомое, петляя, пробежит между ними. Возможно, именно здесь тебе удастся вернуться к Иисусу глазами евреев? К Иуде Искариоту? Или к общей внутренней причине катастроф, постигших все революции? Сочинишь здесь глубокое исследование? Или, наоборот, начнешь сочинять роман? И каждую ночь, после твоих рабочих часов, ты сможешь сидеть за стаканом чая с Гершомом Валдом и с изумленной Аталией и читать на их глазах главу за главой из своей книги?

Ежедневно, после четырех пополудни, Шмуэль поднимался со своего лежбища, умывался, слегка присыпал душистым тальком густую бороду, спускался по железной винтовой лестнице, разжигал керосиновый обогреватель в библиотеке и усаживался перед черным столом Гершома Валда в плетеное кресло, украшенное вышитыми подушечками в восточном стиле. Иногда он пристально рассматривал золотых рыбок, отвечавших ему невидящим скорбным взглядом, почти неподвижных за освещенным сферическим стеклом аквариума, и внимательно слушал проповеди, которые с наслаждением изливал господин Валд. Время от времени Шмуэль вставал со своего места и наливал чай обоим. Или поправлял фитиль в обогревателе, чтобы не угасало излучающее спокойствие синее пламя. Иногда Шмуэль приоткрывал окно, на самую маленькую щелочку за опущенными жалюзи, чтобы впустить в комнату тонкую струю воздуха, напоенного запахом мокрых от дождя сосен.

В пять, а затем в семь и в девять вечера старик слушал выпуски новостей по маленькому радиоприемнику, стоявшему на письменном столе. Иногда он погружался в чтение газеты “Давар”[[26]](#footnote-26) и разъяснял Шмуэлю, что же на самом деле стоит за новостями. Бен‑Гурион опять создает коалицию. Позовет он или не позовет в нее МАПАМ и Ахдут ха‑авода?[[27]](#footnote-27)

– Нет равного Бен‑Гуриону, – говорил Валд. – Никогда не было у еврейского народа столь дальновидного лидера. Очень немногие, подобно ему, понимают, что “народ живет отдельно и между народами не числится”[[28]](#footnote-28) – это проклятие, а не благословение.

В промежутках между новостями Гершом Валд беседовал с ним, например, о глупости Дарвина и его последователей:

– Как можно даже предполагать, что глаз или сам зрительный нерв постепенно возникли и сформировались как ответ на необходимость видеть – посредством того, что они называют “естественным отбором”? Да ведь пока во всей вселенной нет ни глаза, ни зрительного нерва, ни у кого не возникает ни малейшей необходимости видеть, и нет ничего, и нет никого, кто мог бы предположить саму необходимость зрения! Никоим образом немыслимо даже представить, что при полнейшем отсутствии зрения, среди бесконечной вечной тьмы, понятия не имеющей, что она тьма, вдруг неожиданно возникнет и тускло замерцает какая‑то клетка или группа клеток, которые начнут из ничего развиваться, совершенствоваться, видеть, различать очертания, краски, размеры! Так сказать, узник, который сам себя освобождает из узилища? Нет уж, увольте. Более того, теория эволюции никоим образом не объясняет сам факт появления первой живой клетки или первого зернышка роста среди окаменевшего вечного молчания неодушевленного мира. И кто бы мог внезапно появиться из ниоткуда и начать обучать какую‑то захолустную одинокую молекулу безжизненной материи, как именно ей следует вдруг пробудиться из ее вселенского безмолвного покоя и приступить к осуществлению фотосинтеза, иными словами – встрепенуться и начать трансформировать солнечный свет в углеводы, да еще использовать эти углеводы для нужд развития и роста?

И еще. Ведь нет и не может быть никакого дарвинистского объяснения такому удивительному факту: почти с самого дня своего рождения кошка знает, что для отправления своих естественных надобностей она должна выкопать маленькую ямку, а потом присыпать эту ямку землей. И можно ли вообще предположить, что здесь мы имеем дело с явлением естественного отбора? Все кошки, которые не были подготовлены к исполнению этой сложной гигиенической процедуры, поголовно вымерли, не оставив после себя потомства, и только отпрыски кошек, погребающих свои экскременты, удостоились возможности плодиться и размножаться? И почему это именно кошке удалось проскочить сквозь зубчатые колеса механизма естественного отбора, наделившего ее наследием образцовой опрятности и чистоты, а не собаке, не корове, не лошади? Почему же естественный отбор Дарвина не постарался выбрать и оставить на белом свете не только кошку, но также, к примеру, и свинью, способную вылизать самое себя до блеска? Ну‑ка? И кто же, по сути, вдруг научил прапрапредка всех кошек, поборниц гигиены и санитарии, первого могильщика кошачьего дерьма, каким именно образом тот должен подготовить выгребную яму, которую потом же и засыплет землей? Разве нас не учили наши мудрецы древности: “Клещи клещами сотворены”?[[29]](#footnote-29)

Шмуэль всматривался в губы старика, двигающиеся под густыми седыми усами, снова и снова отмечая контраст между остроумной веселостью его речи и той глубокой печалью, что омрачала голубые, подернутые сизой пеленой глаза – трагические глаза на лице сатира.

Иногда старик, по своему обыкновению пространно, с удовольствием и страстно, говорил о мрачных страхах, которые издревле пробуждал в воображении христиан образ Вечного Жида, обреченного на вечные скитания по земле еврея:

– Ведь не каждый может просто так встать себе спокойно поутру, почистить зубы, выпить чашку кофе и убить Бога! Чтобы убить божество, убийца должен быть сильнее Бога. Да еще обладать беспредельной злонамеренностью и порочностью. Иисус Назорей – божество теплое, излучающее любовь, Его убийца, лукавый и омерзительный, неизбежно был сильнее Его. Эти проклятые богоубийцы способны убить Бога только при том условии, что они воистину наделены чудовищными ресурсами мощи и зла. Именно таковы евреи в темных подвалах воображения ненавистника евреев. Все мы – Иуды Искариоты. Вот только правду, мой юный друг, подлинную правду мы видим здесь, в Эрец‑Исраэль[[30]](#footnote-30), прямо пред нашими глазами. Точь‑в‑точь как еврей прошлых времен, так и якобы “новый” еврей взрастает здесь совершенно бессильным и незлонамеренным, но зато алчным, умничающим, неугомонным, напуганным, изъеденным подозрениями и страхами. Прошу любить и жаловать. Хаим Вейцман[[31]](#footnote-31) как‑то в отчаянии заметил, что еврейское государство никогда не сможет существовать, поскольку есть в нем противоречие: если будет государством – не будет еврейским, а если будет еврейским – то уж точно не будет государством. Как у нас написано: “Вот народ, подобный ослу”[[32]](#footnote-32).

Иногда он начинал говорить о перелетных птицах, о странствиях косяков морских рыб; и птицы, и рыбы пользуются таинственными приборами навигации, по сравнению с которыми научная мысль по‑младенчески беспомощна и не способна подобраться к выяснению их глубинной сущности. Руки инвалида удобно покоились на письменном столе, покрытом стеклом, и почти не двигались, пока говорил Шмуэль; ореол света от настольной лампы наделял седую гриву старика еще большей выразительностью. Порой Валд подчеркивал свои сентенции, то возвышая голос, то утихая почти до шепота. Случалось, пальцы его сжимали ручку или линейку и сильная рука, рассекая воздух, рисовала затейливые фигуры. Через каждый час или полтора он тяжело поднимался с места и силой своих мускулов перемещал искривленное тело вдоль письменного стола, добирался до костылей и, ковыляя, пересекал комнату, направляясь в туалет или к одной из книжных полок. Иногда он отказывался от костылей и только с помощью рук перебирался от стола к своей плетеной колыбели, категорически отвергая помощь Шмуэля. В эти моменты своего извилистого ковыляния господин Валд походил на раненое насекомое или на гигантского ночного мотылька, опалившего себе крылья – и весь он бьется и извивается, тщетно пытаясь взлететь. Шмуэль заваривал чай на двоих. Время от времени он бросал взгляд на часы, опасаясь опоздать с подачей вечерней каши, дожидавшейся в тепле на электрической плитке. Несколько раз Шмуэль пытался заинтересовать хозяина дома дискуссией, развернувшейся вокруг спектакля “Визит старой дамы”[[33]](#footnote-33), или “Размышлениями о поэзии Натана Альтермана”[[34]](#footnote-34) – нашумевшей недавней статьей поэта Натана Заха[[35]](#footnote-35), где тот безжалостно клеймил позором вычурную искусственность, господствующую, по его мнению, в альтермановской образности. Но господин Валд нашел в словах Заха изрядную дозу не острой критики, а девять мер[[36]](#footnote-36) злобы, путаницы и незрелости и уклонился от темы, перефразировав древнее изречение “От Натана до Натана не было подобного Натану”[[37]](#footnote-37). Но старик не сказал ни слова, когда Шмуэль прочитал несколько стихотворений Далии Равикович[[38]](#footnote-38), опубликованных не так давно. Низко склонив белоснежную голову, слушал он с глубоким вниманием и молчал.

Из‑за того что шея его изогнулась едва ли не под прямым углом, лицо господина Валда, слушавшего стихи, обращено было к полу. На какое‑то мгновение Шмуэлю даже показалось, что перед ним труп повешенного с перебитыми шейными позвонками.

## 9

Иосиф Флавий, он же Иосеф бен Матитьяху, автор первого из всех имеющихся у нас на руках еврейских источников, где упоминается сам факт существования Иисуса, рассказывает нам историю Назарянина в двух разных версиях. В своей книге “Иудейские древности” Иосеф бен Матитьяху посвящает Иисусу всего несколько, явно христианских, строк: “Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния… Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту… На третий день он вновь явился им живой”. Эту краткую запись Флавий, по своей добросовестности, завершает тем, что считает нужным отметить следующее: “…и поныне еще не исчез род христиан, именующих себя, таким образом, по его имени”. Однако некоторые из современных исследователей, а среди них и профессор Густав Йом‑Тов Айзеншлос, утверждают, что никоим образом невозможно даже представить, чтобы еврей, подобный Иосефу бен Матитьяху, написал так об Иисусе, и, скорее всего, по мнению Айзеншлоса, весь этот отрывок – дело рук фальсификаторов, он переписан заново христианскими авторами и является поздней вставкой в “Иудейские древности”.

Действительно, версия, совершенно отличная от приведенных слов Иосефа бен Матитьяху об Иисусе, излагается в писаниях Агапия, арабско‑христианского писателя десятого века[[39]](#footnote-39). По Агапию, Иосеф бен Матитьяху не видит в Иисусе Мессию, а о Его воскресении спустя три дня после распятия Иосеф бен Матитьяху не повествует как о событии, реально происходившем, а только объективно описывает то, во что верят приверженцы Иисуса.

Бен Матитьяху родился спустя несколько лет после распятия, и, может быть, самое захватывающее в его писаниях об Иисусе – и по версии “Иудейских древностей”, и по версии, которую приводит Агапий, – это удивительный факт: насколько же в глазах историка, едва ли не современника Иисуса, появление Его выглядит событием незначительным, почти третьестепенным; в обеих версиях – и в версии “Иудейских древностей”, и в версии Агапия – менее чем дюжиной строк удостаивает Иосеф бен Матитьяху всю историю жизни Иисуса, Его проповеди, чудеса и знамения, распятие Его, воскресение и новую религию верующих в Него.

И в глазах евреев из поколений, следовавших за Иосефом бен Матитьяху, образ Иисуса занимает весьма скромное место, является чуть ли не курьезом. Среди поколений мудрецов Талмуда только лишь отдельные из них потрудились рассеять кое‑где, в “дальних углах”, как говорится, несколько туманных намеков, высказанных, возможно, в осуждение Иисуса Христа, и, быть может, эти намеки как раз и не имеют к Нему никакого отношения, а призваны высмеять совершенно другого человека или даже нескольких людей, очень разных, ведь обычно мудрецы Талмуда избегают упоминания самого имени Иисуса. В более поздних поколениях к Нему приклеили пренебрежительное прозвище “Тот человек”.

В двух или трех отрывках среди писаний мудрецов Талмуда пробивается некое легкое презрение, которое можно толковать по‑разному; к примеру, танна[[40]](#footnote-40) Шимон бен Аззай[[41]](#footnote-41) цитирует найденный в Иерусалиме “Родословный свиток”, в котором сказано: *“Некто незаконнорожденный, сын женщины, чей муж не был отцом ребенка”.* Может быть, слова эти – некая замаскированная трусливая колкость в адрес соперничающей религии, а возможно, эти слова – не более чем обрывки иерусалимских сплетен и слухов, герой которых вполне мог быть просто неизвестным или безымянным, – из тех анонимных сплетен, которые и в наше время витают в воздухе Иерусалима, и запах их ощущается даже в коридорах университета.

В Тосефте, в трактате Сандхедрин, рассказывается в одном месте об осуждении некоего человека по имени бен Стада, который был наказан в городе Лод за то, что подстрекал к служению чужим богам, и есть толкователи, упорно настаивающие на том, что и здесь есть некий намек на Иисуса Христа. В другом месте Тосефты, в трактате Хулин, упоминается один лекарь, взывавший к имени “Иисус бен Пантра” и с помощью этого имени врачевавший укушенных змеями. Но кем был этот Иисус, а кем – Пантра? Вопрос этот открыт для предположений, которые не более чем просто догадки. Только в позднейшие времена, в книге “Ялкут Шимони”, включающей и комментарии к библейской Книге Чисел, появляется конкретное предупреждение по поводу человека смертного, “представляющего себя богом, вводя в заблуждение все человечество”.

Вместе с тем в трех различных местах Вавилонского Талмуда время от времени появляются четкие слова в осуждение Иисуса, обрисованного сбившимся с пути знатоком Торы, либо колдуном, подстрекавшим к служению идолам, либо человеком беспутным, решившим раскаяться, вернуться к религии, но ему этого не позволили. Однако время шло, поколения сменяли друг друга, и эти три отрывка, не оставив по себе памяти, исчезли почти из всех печатных изданий Вавилонского Талмуда, потому что пуще смерти евреи боялись того, что учинят им соседи‑христиане, прочитав в Талмуде слова об Иисусе.

Пайтан[[42]](#footnote-42) Янай, живший в Эрец‑Исраэль в пятом‑шестом веках, сочинил в форме акростиха пиют, и весь он – насмешка и издевка над теми, которые “называют бедняка богачом / избирают мерзость гнусную /… обращаются повешенному под вечер”… И тому подобное.

Когда Шмуэль принес в библиотеку страницы своей работы, которую он пока отложил, и начал читать Гершому Валду этот витиеватый пиют, старик усмехнулся, прикрыл оба глаза своей широкой уродливой кистью, подобно человеку, не желающему видеть нечто совершенно непристойное, и произнес с негодованием:

– Довольно, довольно! Кто вообще в состоянии слушать эти пустые, пресные умничанья, ведь я просил тебя рассказать мне об Иисусе глазами евреев, а не о том, каким Он предстал перед глазами всевозможных глупцов и балбесов. Чай этот слишком слабый, да и сладкий чересчур, а вдобавок ко всему он еще и едва теплый. Ну, все недостатки, существующие в мире, ты способен втиснуть в один маленький стакан, да еще перемешать все вместе. Нет, нет, в этом нет никакой нужды, не мчись готовить мне новый чай. Только принеси мне, по доброте твоей, стакан воды из‑под крана, а затем мы посидим и немного помолчим. Бен Стада или бен Патра, что им до нас? Да покоятся они с миром на ложах своих. А что же до нас, то у нас есть только то, что глаза наши видят. Да и это – только в весьма редких случаях. А теперь послушаем новости.

## 10

Мансарда была низкой и ему приятной. Этакая зимняя берлога. Вытянутое помещение под потолочными скатами, подобными сводам шатра. Единственное окно глядело на каменную садовую ограду и кипарисовый занавес по ту ее сторону, на двор, мощенный каменными плитами, в тени виноградных лоз и старой смоковницы. Один угольно‑черный кот, несомненный самец, иногда прохаживался там взад‑вперед, царственно‑медленно, поднимая хвост, бархатно‑мягкими шагами, словно каждая из его нежных лап не попирала, а нежно ласкала поблескивающие на солнце плиты, отполированные дождем.

Подоконник был широченным из‑за толщины стен. Шмуэль застелил его своим зимним одеялом, устроив себе тем самым некое гнездо, в котором временами устраивался и полчаса‑час взирал на пустынный двор. Со своего наблюдательного пункта он углядел в углу двора колодец с проржавевшей металлической крышкой. Во дворах Старого Иерусалима подобные колодцы, высеченные в скальном грунте, служили для сбора дождевой воды до того, как пришли англичане, протянули трубы от Соломоновых прудов и источников Рошха‑Аина и создали в Иерусалиме водопроводную сеть.

Эти старые колодцы, собиравшие дождевую воду, спасли евреев Иерусалима от изнуряющей жажды в 1948 году, когда Арабский легион[[43]](#footnote-43) королевства Трансиордания взял в осаду Иерусалим, взорвал в Латруне и Рошха‑Аине все насосные установки, подававшие воду в город, намереваясь вынудить горожан капитулировать, уморив их жаждой. Был ли Шалтиэль Абрабанель, отец Аталии, в числе лидеров еврейского населения во время вторжения в Эрец‑Исраэль армии арабских стран или к тому времени Бен‑Гурион уже изгнал его со всех руководящих постов? И за что он был изгнан? Чем занимался после изгнания? В каком году умер Шалтиэль Абрабанель?

“Однажды, – решил про себя Шмуэль, – я засяду на несколько часов в Национальной библиотеке, углублюсь в поиски, постараюсь выяснить, что стоит за всей этой историей с Шалтиэлем Абрабанелем. Впрочем, что с того, если узнаешь? Разве это знание приблизит тебя к Аталии? Или как раз наоборот – заставит ее замкнуться и отгородиться от тебя в еще большей степени, чем сейчас, когда она замкнута в раковине секретности?”

Между столиком с кофейником и нишей с унитазом и душем, отделенными занавеской, стояла кровать Шмуэля. Рядом с кроватью – стол, стул и лампа, а напротив – обогреватель и этажерка, на которой покоились словари “Иврит – английский” и “Арамейский – иврит”, ТАНАХ в черном матерчатом переплете с позолоченным тиснением, переплетенный вместе с Новым Заветом, какой‑то иностранный атлас, книга “История Хаганы” и несколько томов “Огненных свитков”. Рядом располагалось около десятка книг по высшей математике или математической логике на английском. Шмуэль выдернул одну из книг, заглянул в нее, но не понял даже первых строк предисловия. На полке под книгами, принадлежавшими этому дому, Шмуэль разместил немногие свои, а также проигрыватель и пластинки. На внутренней стороне двери росло несколько железных крючков, на них Шмуэль пристроил одежду. А на стене с помощью полосок клейкой бумаги укрепил портреты героев кубинской революции – братьев Фиделя и Рауля Кастро вместе с их другом, аргентинским врачом Эрнесто Че Геварой, окруженных плотным кольцом мужчин, таких же густобородых, почти как сам Шмуэль, в своей небрежной военной форме походивших на компанию поэтов‑мечтателей, вырядившихся в боевое обмундирование и опоясавших чресла ремнем с кобурой и пистолетом. Лохматый и неуклюжий Шмуэль с легкостью мог вписаться в эту компанию. У некоторых запыленный автомат свисал с плеча так, словно был привязан грубой веревкой, а не кожаным ремнем.

В углу мансарды Шмуэль нашел металлическую тележку, очень похожую на ту, которую он видел у господина Валда в библиотеке на нижнем этаже. Только на его тележке аккуратно, ровными рядами, словно солдаты на плацу, располагались ручки, карандаши, тетради, скоросшиватели, пустые картонные папки, кучка скрепок и горстка резинок, два ластика и даже сверкающая точилка для карандашей. Неужели от него ожидают, что он погрузится здесь в переписывание священных текстов, подобно средневековому монаху в его келье? Или что окунется с головой в исследовательскую работу? Об Иисусе? Об Иуде Искариоте? О них обоих? И, возможно, о покрытой туманом подоплеке разрыва Бен‑Гуриона с Шалтиэлем Абрабанелем?

Он нередко лежал в постели на спине, напряженно пытаясь выделить и соединить замысловатые фигуры, образованные трещинами и щелями на штукатурке потолка, пока глаза его сами не закрывались. Но и закрывшись, сквозь сомкнутые веки глаза его продолжали видеть скошенный потолок отведенной ему мансарды – то ли камеры заключенного, то ли особой палаты, в какие помещают больного, пораженного заразной болезнью.

Имелся и еще один неожиданный предмет, которому Шмуэль Аш не нашел никакого применения. Предмет этот открылся ему не сразу, а лишь спустя четыре‑пять дней и ночей, когда Шмуэль сунулся под кровать в погоне за носком, попытавшимся ускользнуть от своей службы и укрыться в подкроватной темноте. Но вместо носка‑беглеца из потемок на Шмуэля ощерилась злобная лиса, вырезанная на набалдашнике роскошной черной трости.

## 11

Каждый день Гершом Валд, устроившись поудобнее в кресле у письменного стола или на плетеной лежанке, пускал в своих телефонных собеседников язвительные стрелы проповедей и комментариев. Приправлял свои сентенции библейскими стихами и цитатами, остротами и отточенной игрой слов, острия которой были направлены в него самого не в меньшей степени, чем в оппонента. Временами Шмуэлю казалось, что господин Валд пронзает собеседников тончайшей иглой, оскорблениями, что способны задеть лишь хорошо образованных и начитанных людей. Например, говоря: “Но чего ради тебе пророчествовать, дорогой мой? Ведь со дня разрушения Иерусалимского Храма пророческий дар передан был подобным мне и подобным тебе”[[44]](#footnote-44). Или: “Даже если станешь толочь меня в ступе, я не отступлю от своего мнения”[[45]](#footnote-45). А как‑то сказал: “Вот и мы с тобой, дорогой мой, вне всякого сомнения, не похожи ни на одного из четырех сыновей[[46]](#footnote-46), о которых повествует Тора в Пасхальной Агаде[[47]](#footnote-47), но иногда мне кажется, что особенно не похожи мы на первого сына”. В такие минуты на некрасивом лице Гершома Валда появлялось выражение некоей склочности и злонамеренности, а голос переливался ребяческой радостью победителя. Но серо‑голубые глаза под дремучими седыми бровями отрицали иронию, полные печали и одинокости, словно не участвовали в беседе, а фокусировались на чем‑то до невыносимости ужасном. Шмуэль ничего не знал о его телефонных собеседниках, кроме того непреложного факта, что, по всей видимости, все они были готовы терпеливо сносить колкости господина Валда и прощать ему то, что Шмуэль считал балансирующим на грани шутки и злобного сарказма.

По трезвому размышлению, не исключено, впрочем, что все эти собеседники, к которым Валд всегда обращался по кличке “дорогой мой” или “мой дорогой друг”, были не “всеми”, а одним‑единственным человеком, вероятно, не без схожести с Гершомом Валдом, возможно даже – пожилым инвалидом, заточенным в своем рабочем кабинете, и возможно даже, что с ним пребывает какой‑нибудь бедный студент, заботящийся о нем и пытающийся – совсем как Шмуэль – догадаться, кто же тот предполагаемый двойник на другом конце провода.

Случалось иногда, что господин Валд возлежал в молчании и печали на своем лежаке, укутанный шерстяным одеялом в шотландскую клетку, размышлял, дремал, просыпался, просил Шмуэля приготовить по милости своей стакан чая и опять отключался, издавая продолжительный неясный звук – то ли сдавленное пение, то ли сдерживаемое покашливание.

Каждый вечер, в четверть восьмого, после выпуска новостей, Шмуэль разогревал старику его вечернюю кашу, которую готовила соседка Сара де Толедо, добавлял в кашу немного коричневого сахара и корицы. Этой каши хватало им двоим. В четверть десятого, после второго выпуска новостей, Шмуэль ставил перед стариком поднос с лекарствами, с шестью или семью различными таблетками и капсулами, и с полным стаканом воды из‑под крана.

Как‑то раз старик поднял глаза и окинул пристальным взглядом фигуру Шмуэля, сверху вниз и снизу вверх, без всякого стеснения, как рассматривают сомнительный предмет или как слепой ощупывает своими шершавыми пальцами собеседника; разглядывал долго и с жадностью, пока, по‑видимому, не нашел то, что искал. И спросил не церемонясь:

– Однако здравый смысл подсказывает, что у тебя где‑то есть какая‑то девушка? Или что‑нибудь похожее на девушку? Или, по крайней мере, была? Нет? Да? Не было никакой женщины? Ни разу? – И при этом хихикнул, как будто услышал непристойный анекдот.

Шмуэль промямлил:

– Да. Нет. Была у меня. Было уже несколько. Но…

– Итак, почему же дама бросила тебя? Неважно. Я не спрашивал. Бросила. И пусть ей будет хорошо. Ведь наша Аталия уже увлекла тебя. И пальцем не пошевелив, она способна привлекать к себе незнакомцев. Но только уж очень любит свою уединенность. Приближает очарованных ею мужчин и отталкивает несколько недель спустя, а то и через неделю. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю, но более всего – пути мужчины к девице[[48]](#footnote-48). Однажды она сказала мне, что незнакомцы увлекают ее до тех пор, пока они более‑менее незнакомцы. Незнакомец, переставший быть незнакомцем, сразу же начинает ее тяготить. И какой смысл у слова “увлекать”, ты случайно не знаешь? Нет? Как так? Неужто в университете совсем уже перестали обучать вас этимологии и лексическим трансформациям?

– Я уже не в университете.

– Да. Это так. Ты уже изгнан во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов[[49]](#footnote-49). Итак, источник слова “увлекать” – “лератек” – Иерусалиский Талмуд; в Эрец‑Исраэль на арамейском языке это звучало “ратка”, что означает “участок, обнесенный забором”, отсюда и глагол “лератек”, и это значит еще “привязать”, “заковать в кандалы”, привязать цепью, веревкой. А потом появились еще два значения этого слова – “увлекать” и “захватывать”. А что родители? Родители у тебя есть? Или были когда‑то?

– Да. В Хайфе. В Хадар ха‑Кармель[[50]](#footnote-50).

– Братья?

– Сестра. В Италии.

– А дедушка, про которого ты мне рассказывал, тот, что служил в мандатной полиции, и за то, что носил форму британского полицейского, убили его душу наши фанатики, – этот твой дед тоже прибыл из Латвии?

– Да. И правда в том, что он пошел служить в британскую полицию, чтобы добывать сведения для подпольщиков. Он был, по сути, чем‑то вроде двойного агента, тайным бойцом того самого подполья, члены которого убили его. Решили, что он был предателем.

Гершом Валд поразмышлял немного над этим. Попросил стакан воды. Попросил чуть‑чуть приоткрыть окно. А потом печально заметил:

– Была совершена большая ошибка. Большая и горькая ошибка.

– Чья? Подполья?

– Девушки. Той, что бросила тебя. Ведь ты – парень с душой. Так Аталия сказала мне несколько дней назад. И я, как всегда, знаю, что она права, потому что просто невозможно, чтобы Аталия была не права. Она родилась праведной. Она вся высечена из праведности. Но ведь постоянная правота – это, в сущности, выжженная земля. Нет?

## 12

Каждое утро Шмуэль Аш просыпался в девять, а то и в десять, несмотря на ежедневные обещания себе уж завтра‑то подняться до семи, приготовить крепкий кофе и сесть за работу.

Он просыпался, но глаза не открывал. Закутывался поплотнее в одеяло и начинал вслух пререкаться с самим собой: “Вставай, бездельник, ведь уже середина дня”. И каждое утро приходил к компромиссу: “Всего десять минут еще, что тут такого? Ведь ты здесь, чтобы успокоиться после всей этой гонки снаружи, а не затем, чтобы снова гнаться”.

В конечном итоге он потягивался, вздыхал два‑три раза, с усилием вытаскивал себя из постели и, дрожа от холода, в исподнем подходил к окну, чтобы посмотреть, чем отличается этот зимний день от зимнего дня предшествующего. Двор дома, каменные плиты, отполированные обильными дождями, опавшие листья, перекатывающиеся по земле, проржавевшая железная крышка на устье колодца и обнаженная смоковница – все это наполняло его покоем и грустью. Голая смоковница напоминала ему смоковницу из Нового Завета, в Евангелии от Марка, смоковницу, которую Иисус, выйдя из Вифании, увидел вдалеке и, придя к ней, искал понапрасну плоды, чтобы съесть их, но, не найдя, проклял ее в гневе, и смоковница засохла и умерла. А ведь Иисус прекрасно знал, что не может смоковница давать плоды до праздника Песах. Вместо того чтобы проклинать, мог Он благословить ее, совершить маленькое чудо, сделать так, чтобы она в ту же минуту дала плоды?

Грусть влекла за собой как раз некую странную тайную радость – будто кто‑то внутри него радуется самой сути его печали. Эта радость придавала ему решимости подставить курчавую голову и бороду под кран и позволить ледяной струе стряхнуть с него остатки сна.

Теперь он чувствовал себя достаточно бодрым для встречи нового дня и, схватив полотенце, яростно вытирался, словно сдирая холод со своего тела. С воодушевлением чистил зубы, перекатывая во рту воду, сплевывая с ужасным хрипением, рвущимся из глубины горла. Затем одевался, влезал в грубый свитер, включал обогреватель и чайник и готовил себе кофе “боц”[[51]](#footnote-51). Пока кофе пузырился, Шмуэль бросал взгляды на вождей кубинской революции, взиравших на него с покатых стен мансарды, и приветствовал с энтузиазмом: “Доброе утро, товарищи!”

Чашка кофе в правой руке, трость с резной рукояткой в виде лисьей головы – в левой, и он снова возвращался к окну – постоять еще несколько минут в обществе этой лисы. Завидев кота, пробегавшего в тумане между замерзшими кустами, он стучал набалдашникам трости по оконному стеклу, словно науськивая оскалившуюся лису на добычу или посылая внешнему миру сигналы бедствия, чтобы тот заметил их обоих, лису и Шмуэля, и вызволил из плена мансарды. Иногда глаза его наполнялись слезами, потому что ему являлась Ярдена, в мягкой вельветовой юбке она сидела в университетском кафетерии, светлые волосы собраны на затылке и заколоты шпилькой, и она рассыпает вокруг себя серебряные монетки смеха, поскольку кто‑то рядом с ее столиком подшучивает над тем, как Шмуэль спускается с лестницы: кудлато‑бородатая голова опережает туловище, ноги догоняют его, и весь он задыхается и пыхтит.

После кофе Шмуэль посыпал душистым тальком для младенцев свою бороду и курчавые волосы, отчего казалось, будто в его буйной растительности пробивается ранняя седина, затем он спускался по винтовой лестнице, ведущей из мансарды в кухню. Был осторожен, чтобы не нашуметь и не испугать Гершома Валда, погруженного в предобеденный сон. И вместе с тем, не видя в том противоречия, издавал три‑четыре деланных покашливания в неиссякаемой надежде привлечь внимание Аталии, которая, возможно, удостоит его чести и выйдет из комнаты хоть на минутку и озарит своим сиянием кухню.

Но Аталии на кухне не было, хотя ноздри его, казалось, улавливали слабое эхо ее фиалковых духов. И снова его охватывала утренняя тоска, только на этот раз она не перетекала в радость по поводу самой сути этой тоски, а вызывала астматический хрип, и Шмуэль торопливо делал два глубоких вдоха из ингалятора, который постоянно носил в кармане. Затем он открывал холодильник, три‑четыре секунды разглядывал его содержимое, не представляя, что, собственно, он ищет.

В кухне всегда царили порядок и чистота, чашки и тарелки Аталии вымыты и перевернуты на сетке сушилки, ее хлеб, завернутый в тонкую бумагу, в хлебнице, ни единой крошки на клеенке, и только стул, чуть отодвинутый от стола, стоял под некоторым углом к стене, словно она только что в спешке покинула кухню.

Ушла ли она из дома? Или опять заперлась в тиши своей комнаты?

Пару раз ему не удалось обуздать любопытство, и, прокравшись из кухни в коридор, он напряженно прислушивался перед дверью ее комнаты. Изнутри не доносилось ни звука, но после недолгого сосредоточенного вслушивания ему померещилось, будто он улавливает доносящееся из‑за закрытой двери какое‑то жужжание или шуршание, глухое, монотонное и непрерывное. В своем воображении он пытался нарисовать внутреннее убранство этой комнаты, куда его никогда не приглашали и куда ему никогда не удавалось даже мельком заглянуть, хотя несколько раз он подол гу сидел в засаде в коридоре, поджидая, когда же откроется ее дверь.

Но через пару минут он уже снова не понимал, в самом ли деле из‑за двери доносилось жужжание‑шуршание или то плод его воображения. На этот раз он едва не соблазнился тихонечко повернуть дверную ручку, но удержался и вернулся в кухню, и нос его подрагивал, как у щенка, в попытке уловить хотя бы эхо ее запаха. Снова открыл холодильник и на сей раз взял огурец и сжевал его целиком со шкуркой.

Около десяти минут сидел он у кухонного стола и просматривал заголовки газеты “Давар”: новое правительство будет приведено к присяге через два‑три дня, состав его все еще не ясен. Глава оппозиции Бегин[[52]](#footnote-52) заявил, что проблеме палестинцев нет решения в границах Государства Израиль, но есть реальное положительное решение в Земле Израиля, когда вся земля снова будет единой. Зато мэр города Цфат чудом спасся от смерти, когда его автомобиль рухнул с дороги в пропасть. По всей стране ожидаются затяжные дожди, а в Иерусалиме возможен легкий снег.

## 13

Бывало так, что он возвращался, поднимался в свою комнату и проводил два или три часа за чтением, сначала у стола, затем лежа на спине в кровати – до тех пор, пока книга не падала на его густую бороду, а глаза не смыкались под шум ветра за окном и дождя в водосточных трубах. Ему была приятна смутная мысль, что дождь льет и льет в каких‑то нескольких пальцах от его головы: уклон мансардной крыши был таков, что лежащий на кровати мог легко коснуться ее кончиками пальцев.

В полдень он стряхивал с себя сон и облачался в потрепанное студенческое пальто с крупными деревянными пуговицами, застегивавшимися на веревочные петельки. На голову он нахлобучивал подобие кепки, именовавшееся “шапкой”. Это русское слово – как и сами “шапки” – прибыло в страну вместе с беженцами из Восточной Европы. В затишьях между дождями он выходил прогуляться. Шатался вокруг нового здания Народного дома или шел на восток, в сторону улицы Шмуэль ха‑Нагид, вдоль каменных стен монастыря Ратисбон, минуя синагогу Иешурун, и возвращался в квартал Шаарей Хесед по улицам Керен Каемет и Менахема Усышкина. Иногда, не спрашивая разрешения у Аталии, прихватывал трость с лисьей головой и шагал, постукивая ею по тротуару или испытывая ее на металлических воротах. Очень надеялся не встретить по пути никого из сокурсников, чтобы не пришлось, заикаясь, объяснять, почему вдруг он пропал, словно земля его проглотила. Куда подевался? Чем сейчас занимается? И почему он просто так слоняется по зимним улицам, словно закутанное привидение? И с чего это вдруг у него в руках такая роскошная трость с серебряной лисой в набалдашнике?

А ведь у него нет никаких ответов. И никаких отговорок. И он к тому же подписал обязательство ничего никому не рассказывать о своем новом месте работы.

Впрочем, почему бы и нет? Он составляет компанию престарелому инвалиду, иначе говоря, помогает немощному на неполную ставку, за бесплатное жилье и питание и крошечную месячную плату. Что именно Гершом Валд и Аталия Абрабанель могут скрывать от внешнего мира? И какой смысл в этой их таинственности? Не раз любопытство переполняло его, и ему страстно хотелось обрушить на них град вопросов, но сдержанная скорбь господина Валда и холодная отстраненность Аталии отметали все вопросы еще до того, как Шмуэль их формулировал.

Однажды, на улице Короля Георга, возле Бейт‑Маалот[[53]](#footnote-53), он увидел – или воображал, что видит, – Нешера Шершевского, специалиста по сбору дождевой воды. Натянув поглубже шапку и прикрыв половину лица, Шмуэль улыбнулся самому себе и отметил, что нынешняя зима предоставила дорогому господину Шершевскому обилие дождевой воды – собирай не хочу. Возможно, как‑нибудь Нешер Шершевский явится и к ним – проинспектировать воду, собравшуюся в колодце под железной крышкой во дворе дома по переулку Раввина Эльбаза?

В другой раз, на улице Керен ха‑Есод, он едва не угодил прямо в хищную пасть профессора Густава Йом‑Тов Айзеншлоса, и лишь благодаря близоруким глазам профессора, сокрытым за мутными, как бронированное стекло, очками, Шмуэль Аш в последнюю минуту сумел неузнанным нырнуть в один из дворов.

В полдень он усаживался в маленьком венгерском ресторанчике на улице Короля Георга и всегда заказывал горячий и острый суп‑гуляш с двумя кусочками белого хлеба, а на десерт – фруктовый компот. Иногда он быстро пересекал Парк Независимости – несся своими убегающими шагами: курчавая голова преследует бороду, туловище догоняет голову, а ноги торопятся вслед за туловищем, словно опасаясь остаться позади. Едва ли не бегом шлепал он по лужам, точно за ним гнались, и деревья осыпали его лоб ледяными, колючими каплями. Пока не выскакивал на улицу Хилель и оттуда уже тащился в квартал Нахалат Шива, где стоял, тяжело дыша, у дома, в котором до своего замужества жила Ярдена, подняв повыше воротник, наблюдал за входом, будто не Ярдена, но Аталия могла появиться оттуда. Доставал из кармана ингалятор и делал несколько глубоких вдохов.

В ту зиму Иерусалим стоял объятый тишиной и погруженный в размышления. Время от времени звонили колокола церквей. Легкий западный ветер пробегался по кипарисам, спутывая верхушки, отчего у Шмуэля щемило сердце. Случалось иногда, что скучающий иорданский снайпер вдруг производил одиночный выстрел в сторону минных полей или ничейной полосы, отделявшей израильский Иерусалим от Иерусалима иорданского. Выстрел лишь усугублял безмолвие переулков и серую тяжесть высоких каменных стен, и Шмуэль не знал, что прячется за этими стенами, монастыри или сиротские приюты, или, возможно, военные объекты. Стены венчали острые осколки стекла, а местами и спирали ржавой колючей проволоки. Однажды, проходя в тени стены, окружающей Дом прокаженных в квартале Талбие[[54]](#footnote-54), он спросил себя: как выглядит жизнь за этой стеной? И ответил сам же, что, возможно, жизнь эта не особо отличается от его собственной жизни, замкнутой в низкой мансарде в последнем доме переулка Раввина Эльбаза, на краю Иерусалима, рядом с заброшенными полями, усеянными валунами.

Спустя примерно четверть часа он разворачивался, пересекал квартал Нахалат Шива и брел обратно кружным путем – через улицу Агрон, пока наконец не оказывался у вросших в землю железных ворот, скрывавших низкий каменный дом, а затем, тяжело дыша, с легким опозданием появлялся на своем посту в библиотеке господина Валда. Шмуэль заправлял керосином обогреватель, зажигал его, кормил пару золотых рыбок в круглом аквариуме, готовил чай для господина Валда и себя. Время от времени они обменивались листами газеты “Давар”. Из‑за обильных зимних дождей обвалился ветхий дом в Тверии, и двое его обитателей пострадали. Президент Эйзенхауэр предупреждает о кознях Москвы. В Австралии обнаружено поселение аборигенов, никогда не слыхавших о пришествии белого человека. А Египет пополняет свои арсеналы современным советским оружием.

## 14

Как‑то утром он спустился в кухню и обнаружил там Аталию, она сидела у стола, покрытого клеенкой, и читала лежавшую перед ней книгу. Обе ладони ее обхватывали чашку с дымящимся кофе. Шмуэль легонько кашлянул и произнес:

– Простите. Не хотел мешать.

Аталия сказала:

– Уже помешал. Садись.

Ее завораживающие карие глаза глядели на Шмуэля с легкой насмешкой, словно она вполне уверена в силе своей женственности, но слегка сомневается в достоинствах сидящего перед ней парня. Или как будто спрашивает его безмолвно: “Ну, нашелся у тебя наконец‑то какой‑нибудь вопрос для меня или ты опять просто надумал помозолить мне глаза?”

Шмуэль опустил взгляд и увидел выглядывающие из‑под кухонного стола носки ее черных туфель на каблуках. И края зеленоватой шерстяной юбки, почти достигающей щиколоток. Он глубоко вздохнул и почувствовал легкое головокружение от запаха фиалок. Затем прикинул свои дальнейшие шаги, сгреб левой рукой солонку, а правой – перечницу воедино и сказал:

– Ничего особенного. Просто спустился в кухню за ножом для хлеба или…

– Ты ведь уже уселся. Зачем придумывать оправдания?

И снова взглянула на него, все так же без улыбки, но глаза ее уже лучились и обещали, что улыбка возможна, недостает только небольшого усилия с его стороны.

Он оставил в покое солонку с перечницей, вырвал листок из лежавшего на столе блокнота и сложил его вдвое, затем согнул два уха, это здесь, а это – тут. После чего подогнул нижний край, потянул и снова сложил, получив сначала треугольник, а затем – прямоугольник, который он снова сложил, образовав два равных треугольника, и опять сложил бумагу так, чтобы вышел прямоугольник, потянул верхние его углы в разные стороны, подал Аталии бумажный кораблик и сказал:

– Сюрприз. Для вас.

Она взяла из его руки кораблик и, задумавшись, отправила в плавание по просторам клеенки, пока не нашла для него надежную гавань между солонкой и перечницей. И кивнула, словно соглашаясь сама с собой. Шмуэль взглянул на ее лицо, на глубокую резкую складку, спускающуюся четкой линией от аккуратных ноздрей к середке верхней губы. Он заметил, что губы ее накрашены со всей деликатностью, помада почти незаметна. В ответ на его взгляд Аталия подняла чашку и выпила остатки кофе. Затем сказала влажным, медленным голосом, словно ласково поглаживая каждый слог, перед тем как отправить его в дорогу:

– Ты пришел к нам, чтобы уединиться, и вот прошло всего три недели, а одиночество начинает, по‑видимому, тебя тяготить.

И прозвучало это не вопросом, а точным диагнозом. При этих словах воображение нарисовало Шмуэлю теплую полутемную комнату, жалюзи закрыты, горит настольная лампа, ее свет приглушен темным абажуром. Внезапно у него возникло неодолимое желание задеть ее, пробудить в ней любопытство, или удивление, или материнскую жалость, или даже насмешку, неважно, главное – остановить ее, не дать ей подняться и исчезнуть в своей комнате. Или того хуже – уйти из дома; уже случалось так, что она уходила и не возвращалась до позднего вечера. Последние пару раз она уходила и возвращалась только на следующий день. Шмуэль сказал:

– У меня был немного трудный период, перед тем как я пришел сюда. И пока еще не все устроилось. Я пережил кризис. Или, вернее, личную неудачу.

Вот сейчас уголки ее губ дрогнули улыбкой, словно упрашивая его остановиться, не рассказывать ей. Словно она испытывала смущение вместо него. И сказала:

– Я уже закончила с кофе. А ты? Ты ведь искал нож для хлеба?

Из ближнего к себе ящика стола Аталия достала длинный острый нож и осторожно подала его Шмуэлю. И тут ее улыбка вырвалась наконец из заточения. И на сей раз то была не ироничная усмешка, а, напротив, настоящая улыбка, озарившая ее лицо светом сочувствия и сострадания.

– Рассказывай, если хочешь. Я посижу и послушаю.

Шмуэль в рассеянии взял нож из ее руки. О подносе с хлебом даже не вспомнил. От ее улыбки у него закружилась голова, и он заговорил, сбивчиво и коротко рассказал о подруге Ярдене, которая вдруг, ничего ему не объясняя, предпочла выйти замуж за своего прежнего приятеля, зануду‑гидролога. Переложил нож из одной руки в другую, помахал им немного, проверил кончиком ногтя его остроту и сказал:

– Но что мы вообще можем знать о загадочных предпочтениях женщин?

Надеясь тем самым протянуть Аталии – и всей беседе – то ли щепку для костра, то ли стрелу, чтобы направить ее в цель.

Аталия убрала с лица улыбку и ответила:

– Нет такой вещи – “загадочные предпочтения женщин”. Где ты эту чушь услышал? Вот у меня нет ни малейшего представления о том, почему пары расстаются, потому что я не понимаю, как они вообще соединяются. И зачем они соединяются. Другими словами, тебе нечем разжиться у меня по части женских предпочтений. Или мужских. Нет у меня никакого особого женского понимания, чтобы тебе предложить. Может быть, Валд сумеет. Может, поговоришь и с ним об этом? Он ведь специалист по всем вопросам.

После чего она собрала с клеенки редкие крошки, ссыпала их в Шмуэлев бумажный кораблик, деликатно подтолкнула кораблик в сторону Шмуэля и встала: красивая женщина лет сорока пяти, деревянные сережки легко качнулись от ее движений, платье изнутри обласкано ее телом; она миновала его, обдав нежным фиалковым дуновением, но у двери остановилась, одна рука на бедре:

– Со временем мы тебя здесь, возможно, одурманим слегка, чтобы меньше болело. Эти стены привыкли впитывать боль. Но мою чашку не трогай. Я потом вернусь и вымою ее. Но чтобы ты тут не торчал, дожидаясь меня. Впрочем, как угодно. Дожидайся, почему бы нет, если у тебя нет лучшего занятия. Валд бы, конечно, сказал: “Блажен, кто ожидает и достигнет”[[55]](#footnote-55). Не имею понятия, как долго.

Шмуэль нацелил хлебный нож на клеенку, не нашел, что бы отрезать, осторожно положил нож рядом с солонкой и сказал:

– Да. – И тут же поправил себя и сказал: – Нет.

Но она уже выскользнула из кухни. Оставив его кромсать ножом бумажный кораблик, сделанный для нее.

## 15

Примерно в середине девятого века или чуть ранее сидел некий еврей, чье имя нам неведомо, и писал сочинение, в котором он глумился над Иисусом и христианской верой. Нет никакого сомнения в том, что автор, писавший свое сочинение на арабском языке, жил в мусульманской стране, ибо в противном случае он бы не осмелился так насмехаться над христианством. Его сочинение называлось по‑арабски “Каца маджадла альаскаф”, то есть “Рассказ священника об острой полемике”. В нем рассказывается об одном священнике, перешедшем в иудаизм, и после принятия иудаизма он обращается к христианам и объясняет им, почему их вера лжива. Совершенно очевидно, что этот анонимный сочинитель сведущ в христианстве и разбирается в его священных писаниях, равно как и в некоторых поздних христианских толкованиях.

Во времена Средневековья евреи перевели этот текст с арабского на иврит и назвали его “Полемика Нестора‑священника” (то ли с намеком на несторианскую церковь, то ли видоизменив слово “стира” – “противоречие”, “опровержение” – или слово “нистар” – “был опровергнут”, а возможно, просто потому, что Нестором звали священника, перешедшего в иудаизм). С течением времени возникли различные версии этого сочинения. В некоторые из них вставлены цитаты на греческом и на латыни, а иные странствовали, по‑видимому, из Испании в Германию и добрались до византийских земель.

Суть “Полемики Нестора‑священника” – в выявлении противоречий в рассказах евангелистов, в опровержении идеи Троицы и в возражении против Божественности Иисуса. Для достижения этих целей книга избирает различные средства, из которых отдельные противоречат друг другу. С одной стороны, Иисус описывается как абсолютный иудей, соблюдающий заповеди, не собирающийся создавать новую религию или считаться Богом, и только после Его смерти появилось христианство, извратило Его образ для собственных нужд и вознесло Его на одну ступень с Богом. С другой стороны, это сочинение не гнушается грубыми, если не сказать отвратительными намеками относительно удивительных обстоятельств рождения Иисуса. Автор даже насмехается над страданиями и одинокой смертью Иисуса на кресте. К тому же в книге приводятся доводы логические и доводы теологические, предназначенные опровергнуть основы христианской веры.

Все эти противоречия Шмуэль Аш тщательно проверил и записал для себя на листке, прикрепленном к черновикам его заметок, что сей сомнительный анонимный еврейский автор “Полемики” утверждает, чуть ли не единовременно, что Иисус был чистопородным, добропорядочным иудеем; что Иисус был ублюдком, рожденным от блуда его матери, и неизбежно загрязнился, как всякий зародыш человеческий в этом мире, скверной материнской утробы; что пусть даже первый человек не рожден от женщины, никто тем не менее не видит в нем божества; что Ханох и Илия тоже не умерли, а взяты были на небо, и, несмотря на это, они не считаются сыновьями Бога. И не только это: пророк Елисей и пророк Иезекиил творили чудеса и воскресили мертвых куда больше, чем Иисус, не говоря уже о чудесах и знамениях великого учителя нашего Моисея. В заключение автор, подвергая осмеянию акт Распятия, напоминает, как глумилась толпа над умирающим на кресте Иисусом и издевалась над Ним словами: “Спаси самого себя, сойди с креста”. И под конец Нестор цитирует из Священного Писания, что всякий повешенный несет на себе проклятие, как сказано: “Проклят Богом повешенный”[[56]](#footnote-56).

Когда Шмуэль рассказал Гершому Валду об этих утверждениях Нестора‑священника, как и о некоторых других популярных еврейских средневековых текстах – “Родословии Иисуса”, “Случае с повешенным” и еще ряде подобных измышлений, – Гершом Валд ударил своими огромными ладонями по столешнице и вынес приговор:

– Безобразие! Полное безобразие и уродство!

Гершом Валд полагал, что никакого Нестора не было и принявшего иудаизм священника не существовало, однако были трусливые еврейчики‑недоумки, они‑то и сочинили все эти мерзкие писания, поскольку боялись разрушительной силы христианства и потому что желали воспользоваться покровительством мусульманских властей и поносить Иисуса, прячась в складках плаща Мухаммеда.

Шмуэль возразил ему:

– Но ведь в “Полемике Нестора‑священника” очевидна широкая эрудиция в области христианства, знание Евангелий, знакомство с христианской теологией.

Но Гершом Валд решительно отмел всю эту “эрудицию”:

– Что за “эрудиция”, какая еще “эрудиция”? Нет здесь никакой эрудиции, кроме набора отвратительных клише из лексикона базарной толпы. Язык евреев, оскверняющих Иисуса и тех, кто верует в Него, похож как две капли воды на грязные языки всевозможных антисемитов, испытывающих отвращение к евреям и иудаизму.

Ведь для того чтобы спорить с Иисусом Назореем, – печально произнес Валд, – человек обязан хоть немного возвыситься, а не опускаться до клоаки. Верно и то, что возможно, вполне возможно и даже достойно не соглашаться с Иисусом – например, в вопросе универсальной любви: действительно ли возможно такое, что все мы без исключения сможем любить все время всех без исключения? Неужели сам Иисус любил всех все время? Любил ли Он, к примеру, менял у ворот Храма, когда овладел Им гнев и Он в ярости опрокинул их столы? Или когда заявлял: “Не мир пришел Я принести, но меч”? Не истерлись ли в ту минуту из Его сердца заповедь всеобщей любви и заповедь, повелевавшая подставить и другую щеку? Или когда завещал апостолам быть мудрыми, как змии, и простодушными, как голуби? И особенно когда, согласно Луке, повелел Он, чтобы врагов Его, не пожелавших принять царствие Его, привели пред Его очи и избили перед Ним? Куда исчезла в то мгновение заповедь, предписывающая любить также – и в особенности! – врагов наших? Ведь тот, кто любит всех, не любит, в сущности, никого. Пожалуйста. Вот так может человек вести спор с Иисусом Назореем. Так, а не прибегая к помойной брани.

Шмуэль заметил:

– Евреи, писавшие эти полемические вещи, наверняка писали их под глубоким влиянием страданий от преследований и угнетения их христианами.

– Подобные евреи, – сказал Валд с усмешкой отвращения, – подобные евреи, будь в их руках сила и власть, наверняка преследовали бы верующих в Иисуса, причиняли бы им муки и притесняли, возможно, не меньше, чем ненавидящие Израиль христиане – евреев. Иудаизм, христианство, ислам – все они не скупятся на медоточивые речи, исполненные любви, благосклонности и милосердия, только пока нет в их руках наручников, решеток, власти, пыточных подвалов и эшафотов. Все эти верования, в том числе зародившиеся в последних поколениях и продолжающие и по сей день очаровывать множество сердец, – все они явились спасать нас, но очень скоро начали проливать нашу кровь. Я лично не верю в исправление мира. Вот. Я не верю ни в какую систему исправления мира. Не потому что мир в моих глазах исправен. Безусловно, нет. Мир крив и тосклив и полон страданий, но всякий, пришедший исправлять его, быстро погружается в потоки‑реки крови. Давай‑ка теперь вместе выпьем по стакану чая и оставим в покое сквернословие, которое ты мне сегодня принес. Вот если только в один прекрасный день исчезнут из мира все религии и все революции, говорю тебе, все до единой, без всякого исключения, будет в этом мире намного меньше войн. Человек, как сказал когда‑то Кант, по природе своей – подобие кривого, шершавого полена. И нам нельзя пытаться обстругать его, не утонув по горло в крови. Слышишь, какой дождь на улице. Скоро начнутся новости.

## 16

За опущенными жалюзи библиотеки ветер внезапно утих, прекратился и дождь. Сумеречный город погрузился в вязкую глубокую тишину. Только две упрямые птицы настырно пытались расколоть эту тишину. Гершом Валд лежал, сгорбившись, какой‑то весь заостренный, на кушетке, укрывшись шерстяным одеялом и медленно перелистывая иностранную книгу, на обложке которой Шмуэль заметил витиеватое позолоченное тиснение. Настольная лампа отбрасывала вокруг инвалида теплый желтоватый круг так, что Шмуэль оставался вне его пределов. Старик уже успел этим вечером не на шутку подраться по телефону с одним из своих постоянных собеседников, швырнув в оппонента, что последовательность не всегда то качество, которым следует похваляться, нет и нет! Однако недостаток последовательности, безусловно, позор для ее приверженца.

Валд и Шмуэль выпили не по одному стакану чая, Шмуэль покормил золотых рыбок в круглом стеклянном аквариуме, и они с Валдом уже поговорили о решении иорданских властей в Восточном Иерусалиме препятствовать проходу израильской колонны к зданиям Еврейского университета на горе Скопус. Говорили о волне антисемитских нападений, осуществленных по всей Германии молодыми неонацистами, и о решении берлинского городского сената объявить все неонацистские организации вне закона. В газете говорилось, что президент Всемирной сионистской организации доктор Нахум Гольдман[[57]](#footnote-57) утверждал, что за всеми нападениями на еврейские учреждения в Европе стоят нацисты. А потом Шмуэль вышел на кухню, захватив пустую тарелку из‑под печенья, а по возвращении подал старику его вечерние лекарства, которые тот проглотил, запив остатками чая.

Внезапно Валд спросил:

– Ну а твоя сестра? О которой ты мне рассказывал? Та, что уехала изучать медицину в Италию? Ты уже поставил ее в известность о своем положении?

– О моем положении?

– Да. Ты ведь явился к нам якобы прятаться от жизни, да вот влюбился, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь[[58]](#footnote-58). Думал ли ты когда‑нибудь, мой юный друг, насколько точны англичане в своем замечательном выражении “свалился в любовь”?[[59]](#footnote-59)

– Я? – поразился Шмуэль. – Но я…

– Когда англичане еще с деревьев не слезли, наш самый мудрый из людей уже знал, что любовь покрывает все грехи[[60]](#footnote-60). Иными словами, любовь, по сути, связана с тем, что, споткнувшись, окажешься на низшей ступени греховного мира. И в той же книге еще сказано: “Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце”[[61]](#footnote-61). Твоя сестра, она младше тебя? Старше?

– Старше. На пять лет. И она не…

– Если не она, то кто? Ведь человек, тебе подобный, не протянет руку к родителям в часы такого падения. И к своим учителям. Может быть, твои друзья поддержат тебя. У тебя есть друзья?

Шмуэль ответил, что в данную минуту ему хотелось бы сменить тему разговора, что друзья отдалились от него или, правильнее, он отдалился от них, поскольку все социалистическое движение пережило тяжелое потрясение после разоблачения извращений сталинского режима. И среди товарищей Шмуэля начались разногласия. Чтобы не давать Валду возможности продолжать разговор о любви и об одиночестве, Шмуэль углубился в подробный рассказ о кружке социалистического обновления, который собирался раз в неделю в задымленном кафе в квартале Егиа Капаим, пока недавно не распался по причине серьезных разногласий. После чего нырнул еще глубже и стал говорить о ленинском наследии и о том, что сотворил с ним Сталин, а отсюда перешел к размышлениям вслух на тему, какого рода наследство оставил Сталин своим преемникам – Маленкову, Молотову, Булганину и Хрущеву.

– Неужели достойно ставить крест на великой идее, раз и навсегда махнуть рукой на возможность исправления мира только потому, что партия там, в Советском Союзе, разложилась и сбилась с дороги? Неужели достойно выносить обвинительный приговор Иисусу, чудесной личности, только потому, что инквизиция мнит о себе, что действует от Его имени?

Гершом Валд сказал:

– А кроме сестры да Ленина с Иисусом, есть у тебя в мире хоть одна близкая душа? Ладно. Ты ведь не обязан отвечать на эти вопросы. Ты – бравый солдат в армии исправителей мира, а я – всего лишь часть его испорченности. Когда победит новый мир, когда все люди без исключения будут простыми, честными, продуктивными, сильными и равными, распрямившими свои согбенные спины, – тогда законом отменят право на существование подобных мне извращенных существ, которые, по общему мнению, лишь едят и ничего не делают, да еще мутят все вокруг всевозможным бесконечным умничаньем. Вот так. Даже она, то есть Аталия, тоже наверняка окажется лишней в чистом мире, который возникнет после революции, – в мире, которому не будет никакого дела до одиноких вдов, не мобилизованных на исправление мира, а слоняющихся без дела то тут, то там, совершая хорошее и плохое, попутно разбивая наивные сердца, а за все это наслаждаясь постоянным денежным пособием из отцовского наследства и пенсией вдовы военнослужащего от министерства обороны.

– Аталия? Вдова?

– И даже в тебе, мой дорогой, не будет у них никакой надобности, даже тени надобности после того, как осуществится наконец‑то великая революция. Ибо что им за дело до Иисуса глазами евреев? Что за дело до всевозможных мечтателей, подобных Иисусу? Или подобных тебе? Что им до еврейского вопроса и вообще до всех вопросов, существующих в этом мире? Ведь они, в сущности, сами – ответ на все вопросы, окончательный восклицательный знак! И я говорю тебе, мой дорогой, пожалуйста, послушай. Если мне предстоит тысячу раз выбирать между нашим страданием, твоими, моими и всеобщими нашими вековыми муками, – и между вашими спасениями и избавлениями или вообще всеми спасениями и избавлениями в мире, я предпочитаю, чтобы оставили нам всю боль и сожаление, а себе пусть оставят исправление мира, являющееся всегда в компании с резней, крестовыми походами или с джихадом, с ГУЛАГом или с битвами Гога и Магога. А сейчас, друг мой, сейчас, с твоего позволения, мы проделаем над тобой небольшой эксперимент: мы обратимся к тебе с тремя просьбами – закрыть поплотнее жалюзи, добавить керосин в обогреватель, приготовить нам обоим еще по стакану чая. Попросим и понаблюдаем за судьбой этих трех пожеланий.

## 17

Ночью, погасив свет и свернувшись под одеялом на кровати, он видел на стене отблески молний, слышал раскаты грома и удары дождя, железными цепями громыхавшего по черепичной крыше над самой его головой, и поскольку кровать его стояла под самым скатом, то, вытянув руку, он мог коснуться наклонного потолка, и подушечки его пальцев и бушующие стихии окажутся разделенными какими‑то четырьми‑пятью сантиметрами штукатурки и черепицы.

Холод, ветер и дождь, бушевавшие в такой близости, нагоняли тяжелый сон, но каждые полчаса‑час он просыпался, разбуженный почудившимся скрипом двери внизу или шорохом шагов во дворе. И он бросался к окну, настороженный, словно грабитель, и пытался высмотреть сквозь щели жалюзи, не она ли выходит из дома в ночь. Или, наоборот, возвращается и запирает за собой дверь. Одна? Или не одна?

Подобное предположение ввергало Шмуэля в слепой гнев, смешанный с жалостью к себе и с некоторой долей горькой неприязни к ней. Она и ее секреты. Она и ее игры в таинственность. Она и чужие мужчины, которые, возможно, шастают здесь, приходят и уходят ветреными дождливыми ночами. Или не приходят, но она сама, крадучись, выходит к ним?

Но разве она должна тебе? Неужели только потому, что ты вывалил на нее удручающие байки о своих разочарованиях, о том, как тебя бросили, о всяких идеологических глупостях, она обязана в ответ изложить тебе историю своей жизни и подробности своих связей? С какой стати? Что ты можешь предложить ей и какое ты имеешь право ожидать от нее чего‑либо, кроме зарплаты да кухонного и постирочного распорядка, о которых вы договорились в день твоего прибытия сюда?

С этим он возвращался в постель, снова сворачивался под одеялом, вслушивался в дождь или в глубокую тишину в паузах дождя, засыпал ненадолго, просыпался в отчаянии или в гневе, зажигал свет у изголовья, прочитывал четыре‑пять страниц, не понимая написанного, гасил свет, переворачивался на другой бок, боролся с муками вожделения в темноте, включал свет, садился, слушал рев ночного мотоцикла, мчавшегося безлюдными переулками, исходил яростной ненавистью к ней и немного – к ее избалованному старику, вставал, расхаживал по комнате, садился к шаткому письменному столу или устраивался на каменном подоконнике, словно воочию видел ее, медленно снимающую сапоги и чулки, платье слегка приподнято, линия икр белеет из темноты, а глаза саркастически смеются: “Да? Прости? Ты что‑то хочешь? Что тебе понадобилось на этот раз? Немного тяготит одиночество? Или раскаяние?” И он снова мчался к окну, к двери, к углу, служившему ему кухней, наливал полстакана дешевой водки, вливал в себя одним махом, словно омерзительное лекарство, возвращался в постель, проклинал свое вожделение и ироническую улыбку Аталии, ненавидя зеленоватую искорку в ее дразнящих карих глазах, столь уверенных в своей власти, ненавидя ее темные волосы, спускающиеся на левую грудь, ее босые ноги, ее белеющие перед ним коленки, каждую в отдельности ненавидя. И снова дождь стучал по черепице прямо над его пылающим в лихорадке телом, и ветер глумился над верхушками кипарисов перед его окном, и Шмуэль выплескивал вожделение в ладонь, и тотчас же его заливала мутная волна стыда и омерзения, и он клялся оставить этот дом, этого безумного старика и эту вдовую женщину, а уж действительно ли вдову, так безжалостно издевающуюся над ним. Уже завтра или послезавтра он оставит их. Или самое позднее – в начале следующей недели.

Но куда он пойдет?

В девять или в десять утра он просыпался окончательно, измочаленный и мрачный, весь в слезах от жалости к самому себе, проклиная и свое тело, и свою жизнь, препираясь с самим собой: “Вставай уже, вставай, несчастный, вставай, или революция вот‑вот начнется без тебя”. И вымаливал себе еще десять минут или пять, переворачивался, забывался снова и опять просыпался, а уже почти полдень. А ведь в половине пятого ему заступать на смену в библиотеке, а эта черная вдова если и заходила в кухню, сидела там и пила чай, то ты опять прозевал ее. Теперь ты наконец уже оденешься, выйдешь из дома в поисках обеда, который заодно послужит и завтраком, впрочем, и ужином тоже, потому что вечером ты ведь ничего есть не будешь, кроме двух толстых кусков хлеба с вареньем да остатков каши, которую Сара де Толедо, соседка, приносит Гершому Валду каждый вечер, готовя у себя на кухне за скромную плату, о чем условилась с ней Аталия Абрабанель.

## 18

В один из вечеров Гершом Валд рассказал ему о приключениях отряда крестоносцев, вышедших во второй половине одиннадцатого века из области Авиньон и направившихся в Иерусалим, чтобы освободить его из рук еретиков и тем снискать благодать, вымолить искупление грехов и обрести покой душевный. На своем пути отряд миновал леса и степи, небольшие города и селения, горы и реки. Немало трудностей и страданий досталось крестоносцам по дороге – болезни и распри, голод и кровавые стычки с разбойниками и с другими вооруженными отрядами, которые, как и они, тоже следовали в Иерусалим во имя Святого Креста. Не раз сбивались они с пути, не раз одолевали их эпидемии, холод и нужда, не раз охватывала их разрывающая сердца тоска по дому, но неизменно перед их взором возникал образ чудесного Иерусалима, града не от мира сего, в котором нет ни зла, ни страданий, а лишь вселенский небесный покой и глубокая чистая любовь, – города, залитого вечным светом сострадания и милосердия. Так шли они и шли, минуя пустынные долины, взбираясь на заснеженные склоны гор, пересекая продуваемые ветрами равнины, унылые пространства заброшенных, поросших кустарником холмов. Постепенно слабел дух, изнуряли тяготы похода, разочарование и растерянность вгрызались в воинов, некоторые из них ночами сбегали и поодиночке направлялись домой, другие лишились рассудка, а иных охватило отчаяние и безразличие, и все яснее становилось им, что Иерусалим вожделенный – не город вовсе, а лишь чистое стремление. И все же крестоносцы продолжали идти на восток, к Иерусалиму, с трудом волоча ноги, сквозь грязь, пыль, снег, устало плелись вдоль реки По, направляясь к северному побережью Адриатического моря, пока в один из летних вечеров, на закате солнца, не прибыли они в небольшую долину, окруженную высокими горами, в одной из внутренних областей земли, известной сегодня под именем Словения. Эта долина предстала перед их глазами оазисом Бога: источники и луга, зеленые пастбища и тенистые дубравы, виноградники и цветущие фруктовые сады. И была в этой долине маленькая деревушка, выстроенная вокруг колодца, и площадь, мощенная каменными плитами, и амбары, и сеновалы под отвесными крышами. Стада овец паслись на склонах, степенные коровы грезили на зеленом лугу, а между ними прохаживались гуси. Спокойными и безмятежными показались крестоносцам крестьяне этой деревушки и улыбчивые, черноволосые и круглотелые девушки. Так случилось, что крестоносцы посоветовались между собой и решили в конце концов назвать эту благословенную долину Иерусалимом и здесь завершить свой изнурительный поход.

Итак, разбили они лагерь на одном из склонов, напротив деревенских домов, напоили и накормили утомленных лошадей, окунулись в воды ручья и, отдохнув в этом Иерусалиме от мук и страданий похода, начали собственными руками обустраивать свой Иерусалим: соорудили для себя двадцать‑тридцать скромных хижин, выделили участки поля каждому, проложили дороги, возвели маленькую церковь, а к ней – прелестную колокольню. Со временем взяли себе в жены девушек из деревни, нарожали детей, которые, подрастая, с удовольствием плескались в водах Иордана, босиком носились по опушкам лесов Вифлеема, взбирались на Масличную гору, спускались в Гефсиманский сад, к ручью Кедрон и к Вифании или играли в прятки среди виноградников Эйн‑Геди.

– Так они и живут доныне, – завершил свой рассказ Гершом Валд, – жизнью чистою, жизнью вольною, в Граде Святом, в Земле Обетованной, и все это – без пролития крови чистой, без войны непрестанной с еретиками и врагами. Живут в своем Иерусалиме в добре и спокойствии, каждый под своей виноградной лозой, под своей смоковницей[[62]](#footnote-62). До скончания времен. А ты? Куда, если так, ты намерен отсюда податься?

– Вы предлагаете мне остаться, – сказал Шмуэль без знака вопроса в конце фразы.

– Ведь ты уже любишь ее.

– Возможно, только немного, только тень ее, не ее саму.

– А ты вообще живешь среди теней. Как раб жаждет тени[[63]](#footnote-63).

– Среди теней. Возможно. Да. Но не как раб. Пока еще – нет.

## 19

Как‑то утром Аталия поднялась в мансарду и застала Шмуэля сидящим за столом и перебирающим записи, которые он сделал в те дни, когда еще надеялся завершить и подать профессору Густаву Йом‑Тов Айзеншлосу свою работу “Иисус глазами евреев”. Она встала на пороге – одна рука на бедре, словно пастушка из рассказа Гершома Валда, остановившаяся на берегу речки и внимательно наблюдающая за своим гусиным стадом. На Аталии было узкое хлопковое платье персикового цвета с рядом больших пуговиц спереди. Верхнюю и нижнюю пуговицы она предпочла не застегивать. Шею обхватывал шелковый платок, завязанный бабочкой, а талию – темный пояс с перламутровой пряжкой. Она насмешливо спросила, что с ним стряслось, почему он вскочил ни свет ни заря (было одиннадцать с четвертью). Шмуэль ответил, что сон не идет к разбитым сердцам. На это Аталия заметила, что верно как раз противоположное, ведь известно, что разбитые сердца всегда убегают в объятия сна. Шмуэль сказал, что и сон, как все прочие, захлопывает двери перед ним. Аталия пояснила, что именно поэтому она и поднялась к нему, чтобы распахнуть перед ним дверь, иными словами – объявить ему о том, что нашего старика нынешним вечером отвезут на машине в дом его приятелей в квартале Рехавия, а посему Шмуэль может наслаждаться свободным вечером.

– А вы? Может быть, и вы свободны этим вечером?

Она устремила на Шмуэля пристальный взгляд карих с зеленоватыми искорками глаз, так что ему пришлось потупиться. Лицо ее было бледным, взгляд словно прошел сквозь Шмуэля и вонзился во что‑то за его спиной, но тело было живым и пульсирующим, грудь вздымалась и опускалась в такт спокойному дыханию.

– Я всегда свободна, – сказала Аталия. – И этим вечером – тоже. У тебя есть предложение? Сюрприз? Соблазн, перед которым я ни за что не смогу устоять?

Шмуэль предложил прогулку. А потом, возможно, ресторан? Или, может, какой‑нибудь фильм в кинотеатре?

Аталия сказала:

– Все три предложения принимаются. Не обязательно в том порядке, в котором они поступили. Я приглашу тебя на первый сеанс в кино, ты пригласишь меня в ресторан, а что касается прогулки – еще посмотрим. Вечера нынче холодные. Возможно, просто пешком вернемся домой. Так сказать, сопровождая друг друга. Нашего Валда, вероятно, привезут между половиной одиннадцатого и одиннадцатью, а мы вернемся немного раньше, чтобы встретить его. Ты спустишься в кухню вечером в половине шестого. Я буду готова. А если я случайно задержусь, ты, возможно, согласишься подождать меня немного? Нет?

Шмуэль, заикаясь, пробормотал “спасибо”. Около десяти минут он стоял у окна, не в силах унять радость. Вытащил из кармана ингалятор и сделал два глубоких вдоха, поскольку от волнения стало трудно дышать. Затем уселся на стуле перед окном, выглянул во двор, где плиты поблескивали под солнечными лучами, и спросил себя: о чем, собственно, он будет беседовать с Аталией? Что он вообще о ней знает? Что она вдова, что ей лет сорок пять, она дочь Шалтиэля Абрабанеля, который пытался возражать Бен‑Гуриону в дни Войны за независимость и был изгнан со всех своих постов? А теперь она здесь, в этом старом доме, с Гершомом Валдом, инвалидом, который называет ее “моя владычица”. Но какая связь между ними? Кому из них двоих принадлежит этот дом, на железных воротах которого выбито: “Дом Иехояхина Абрабанеля ХИ’’В дабы возвестить, что праведен Господь”? Неужели Аталия, совсем как он, – всего лишь квартирантка Гершома Валда? Или Валд – квартирант Аталии? И кто этот Иехояхин Абрабанель? И какова природа отношений между немощным инвалидом и этой сильной женщиной, проникающей по ночам в твои сны? И кто были его предшественники, жившие в этой мансарде, и почему они исчезли? И почему с него взяли обязательство хранить его работу в тайне?

Все эти вопросы Шмуэль решил исследовать по одному и на каждый со временем найти исчерпывающий ответ. А пока он принял душ, присыпал бороду детским тальком, переоделся и попытался расчесать свои косматые заросли – безуспешно. Борода бунтовала и ничуть не изменилась после расчесывания. И Шмуэль сказал самому себе: “Брось. Жаль. Нет никакого смысла”.

## 20

То тут, то там уже в эпоху Средневековья раздавались отдельные еврейские голоса, возражавшие против наглой грубости рассказов, позоривших Иисуса, к примеру, голос раби Гершома ха‑Коэна, во вступлении к своей книге “Надел законодателя” писавшего, что осмеяние Иисуса – не более чем “глупость и полная чепуха, позорящая человека образованного, на устах которого они появляются”. (Хотя и сама книга “Надел законодателя” также стремится опровергнуть истинность историй, изложенных в Новом Завете.) Раби Иехуда ха‑Леви в своей “Книге хазара”, написанной в XII веке, вложил в уста христианского мудреца рассказ о Божественном рождении Христа – о главных событиях Его жизни и идее Святой Троицы. Все это мудрец‑христианин излагает хазарскому царю, но рассказ не убедил царя, и он не принимает христианскую веру, потому что все это повествование кажется ему далеким от здравого смысла. Следует отметить, что в “Книге хазара” раби Иехуда ха‑Леви приводит краткое изложение истории жизни Иисуса, избегая фальсификаций, насмешек и даже с определенной дозой убедительности.

Что же касается Рамбама, также жившего в XII веке, то в своей книге “Повторение Закона” он изображает Иисуса как лжемессию, но вместе с тем полагает, что христианство – верный шаг человечества на пути от язычества к вере в Бога Израиля. В книге “Йеменское послание” Рамбам говорит, что отец Иисуса был чужеземцем, а мать – дочерью народа Израиля и что сам Иисус не имеет никакого отношения к тому, что говорили и делали Его ученики, к тем легендам, которыми окружили образ Иисуса после Его смерти. Рамбам даже утверждает, что мудрецы Израиля, современники Иисуса, были, по‑видимому, причастны к смерти Иисуса.

В отличие от писателей, которые порочили память Иисуса, пребывая в арабских землях, Радак (раби Давид Кимхи)[[64]](#footnote-64) создавал свои сочинения в христианском Провансе. В “Книге Завета”, приписываемой ему, можно найти отголоски острой теологической полемики, разразившейся внутри самого христианского мира: некоторые из христианских мудрецов полагали, что Иисус – воплощение божественности во плоти и крови, в то время как другие считали, что Иисус был духом, а не плотью, следовательно, пребывая в утробе Матери Своей, Он ничего не ел и не пил. Радак насмехается над подобными аргументами, подробно разбирая парадокс пребывания бесплотного плода в чреве облеченной плотью матери: “…(Иисус) вышел из известного места, маленький, как и все малютки, справлял нужду, мочился, подобно всем детям, и не творил никаких знамений до тех пор, пока вместе с отцом и матерью не спустился в Египет, там он и научился многим премудростям (колдовству), а после восхождения в непорочную Страну Израиля творил чудеса и знамения, описанные в книгах христиан, и все это – в силу тех премудростей, которым научился в Египте…” Так пишет Радак в “Книге Завета”. И еще: не будь Иисус плотью и кровью, утверждает Радак, невозможна была бы Его смерть на кресте.

“Странная вещь, – записал для себя Шмуэль на отдельном листке, – чем больше эти евреи стараются опровергнуть сверхъестественные истории вокруг зачатия и рождения Иисуса, вокруг Его жизни и Его смерти, тем упорнее они уклоняются от духовной, интеллектуальной, моральной конфронтации с несомой Иисусом Благой вестью. Словно им вполне достаточно опровергнуть чудеса и оспорить знамения, и таким образом исчезнет сама Благая весть, будто ее и не было. И странно, что ни в одном из этих писаний нет ни слова об Иуде Искариоте. Ведь не будь Иуды, то, возможно, не было бы и Распятия, а без Распятия не было бы и христианства”.

## 21

Вечерний воздух был холоден и сух, переулки безлюдны и окутаны полупрозрачной белесой пеленой пара, слегка сгущавшегося вокруг уличных фонарей. Время от времени дорогу перебегал торопливый кот и мигом исчезал среди теней. Аталия куталась в темное пальто, и только ее изящная голова оставалась непокрытой. Шмуэль был в своем грубом студенческом пальто с веревочными застежками и крупными деревянными пуговицами, в шапке с козырьком. Одна лишь густая борода торчала наружу. Шмуэль едва сдерживал свою походку‑бег, приноравливая ее к размеренному шагу Аталии. Время от времени он все‑таки вырывался вперед, но тут же, устыдясь, останавливался и поджидал Аталию.

– Куда ты бежишь? – спросила она.

Шмуэль поспешил извиниться:

– Простите. Я привык ходить в одиночку, а потому вечно спешу.

– Спешишь? Куда?

– Не знаю. Понятия не имею. Гонюсь за собственным хвостом.

Аталия взяла его под руку.

– Этим вечером ты ни за кем не гонишься. И за тобой никто не гонится. Этим вечером ты идешь со мной. И в моем темпе.

Шмуэль чувствовал, что должен чем‑то заинтересовать, как‑то развлечь, но вид пустого переулка, над которым нависали пустые бельевые веревки и пустые балконы, и освещавший все это мутным светом одинокий фонарь вызвали у него тягостное ощущение, и он не находил нужных слов. Ее руку, продетую под его локоть, он прижал к своему боку, словно обещая Аталии, что все еще впереди. В эти минуты он знал, что власть ее над ним абсолютна, что она может побудить его сделать почти все, о чем ни попросит. Но с чего начать разговор, который мысленно вел с ней уже несколько недель, он не знал. После ее слов, что нынче он будет шагать в ее темпе, он подумал, что лучше уж пусть она сама сочтет нужным открыться первой. Аталия молчала и только пару раз заговорила, чтобы указать на ночную птицу, пролетевшую прямо над их головами, или предостеречь Шмуэля о горе мусора, в которую он из‑за своей рассеянности едва не воткнулся.

Они пересекли улицу Усышкина, миновали безлюдную площадь перед Народным домом и направились к центру города. Прохожие, попадавшиеся навстречу, были закутаны с головы до ног, парочки жались друг к дружке, а по виду двух медленно ковылявших старушек было очевидно, что холод пробрал их до самых костей. Сухой морозец кусался, Шмуэль, слегка вывернув голову, пытался уловить пар от дыхания Аталии и в то же время старался держать голову на излете, не полагаясь на запах собственного дыхания. Руки их были сплетены, и Шмуэль ощущал, как по спине пробегает приятный озноб. Немало времени утекло с тех пор, как прикасалась к нему женщина. Немало времени утекло с тех пор, как прикасалась к нему живая душа. Каменные стены иерусалимских домов, отражавшие свет автомобильных фар, словно излучали прохладную бледность. Аталия сказала:

– Тебе так хочется о чем‑то спросить меня. Ты переполнен вопросами. Посмотри на себя: выглядишь как бродячий вопросительный знак. Ну ладно. Не мучай себя. Спрашивай. У тебя три вопроса.

Шмуэль спросил:

– Какой фильм мы собираемся сегодня смотреть? – И в порыве, которого больше не в силах был сдерживать, добавил: – Валд говорит, что вы вдова?

Аталия ответила бесстрастно и даже почти ласково:

– Полтора года я была замужем за Михой, единственным сыном Гершома Валда. Потом Миха погиб на войне. Миха погиб на войне, и мы остались вдвоем. Валд – мой бывший свекор. Я была его невесткой. Мы с тобой сейчас идем смотреть французский фильм. Детектив с Жаном Габеном в кинотеатре “Орион”. Еще что‑нибудь?

Шмуэль сказал:

– Да.

Но не продолжил, а внезапно выдернул руку из‑под руки Аталии и обнял ее за плечи. Она не отстранилась, но и не ответила на объятие, не прижалась к нему. Сердце его рвалось к ней, но слова застряли в горле.

В кинотеатре “Орион” царил холод, и они не стали снимать пальто. Зал был наполовину пуст, потому что фильм шел уже третью неделю. Перед фильмом показали киножурнал, в котором Давид Бен‑Гурион, энергичный, пружинистый, подтянутый, одетый в хаки, ловко взбирался на танк. Затем на экране появился квартал бедноты на окраине Тель‑Авива с залитыми зимними ливнями домами. Под конец показали церемонию избрания королевы красоты Кармеля, и Шмуэль снова положил руку на плечо Аталии, обтянутое тканью пальто. Никакой реакции. Когда закончились анонсы “Скоро” и “На следующей неделе”, она слегка отклонилась и как бы невзначай убрала его руку. Жан Габен, преследуемый врагами, казалось, утратил всякую надежду, но не растерял ни хладнокровия, ни самообладания. Были в нем ироническая жесткость, жесткость скептическая в сочетании с хладнокровным упрямством, которые вызвали в Шмуэле такую зависть, что, склонившись к Аталии, он шепотом спросил ее, не пожелала бы она для себя мужчину, подобного Жану Габену. На это Аталия ответила, что у нее нет для себя никаких пожеланий: зачем? Мужчин она находит слишком ребячливыми и слишком зависимыми от успехов и побед, без которых они киснут и вянут. Шмуэль погрузился в отчаяние, осознав, что сидящая рядом женщина для него недостижима. Мысли его разбрелись, и он перестал следить за происходящим на экране, но время от времени замечал, что Жан Габен относится к женщинам, в особенности к главной героине, с изрядной долей тонкой отеческой иронии, не лишенной, впрочем, теплоты.

## Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25452707&lfrom=236997940) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1. Монументальный роман Самеха Изхара (Изхар Смилянский, 1916–2006), главные герои которого – солдаты, а действие происходит в течение одной из недель Войны за независимость. Циклаг – древний город в пустыне Негев, неоднократно упоминаемый в Библии. – *Здесь и далее примеч. перев.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Давид Бен‑Гурион (Давид Иосеф Грин, 1886–1973) – лидер еврейского Рабочего движения. 14 мая 1948 года провозгласил государственную независимость Израиля. Первый глава правительства и первый министр обороны Государства Израиль. Деятельность Бен‑Гуриона наложила глубокий отпечаток на формирование израильского общества и израильской государственности. [↑](#footnote-ref-2)
3. Квартал в районе иерусалимского рынка. “Егиа Капаим” – труды рук (*иврит*). Выражение из Книги пророка Аггея, 1:11. Такое же название носят улицы во многих городах Израиля. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Шахаф” – чайка. “Баам” – аббревиатура, соответствующая английскому Ltd и русскому ООО (с ограниченной ответствен ностью). [↑](#footnote-ref-4)
5. Храм Успения Богородицы, принадлежащий немецкому католическому аббатству ордена бенедиктинцев, стоит на вершине горы Сион, около Сионских ворот, за пределами Старого города. Возведен в 1910 г. архитектором Ф. М. Гислером по проекту Генриха Ренарда на участке земли, который продал турецкий султан Абдул‑Хамид Второй германскому кайзеру Вильгельму II во время его визита в Иерусалим в 1898 году. В крипте храма находится камень, найденный примерно в конце VII века и считающийся смертным одром Матери Христа, как полагают католики‑бенедиктинцы. Правда, с этим не согласна православная церковь, утверждающая, что успение произошло в городе Эфес. [↑](#footnote-ref-5)
6. Под “Рамонскими горами” (в израильской топонимике такое понятие вообще‑то отсутствует) Амос Оз подразумевает гористую местность в пустыне Негев с высшей точкой – горой Рамон и кратером Рамон. [↑](#footnote-ref-6)
7. “Встать под хупу” – выражение, эквивалентное русскому “пойти под венец” (“хупа” – свадебный балдахин). [↑](#footnote-ref-7)
8. Гемара – свод дискуссий и анализов текста Мишны, составленный в III–V веках. Гемара и Мишна составляют Талмуд. Тосефта (“дополнение”, *арамейск.*) – сборник учений, составлен как пояснения и дополнения к Мишне. [↑](#footnote-ref-8)
9. Элиезер Каплан (1891–1952) – первый министр финансов Израиля, уроженец Минска. Его именем среди прочего названа Школа социально‑политических наук в Еврейском университете в Иерусалиме. [↑](#footnote-ref-9)
10. Аббревиатура ТОББ"А означает “отстроится и возведется в скором времени в наши дни. Аминь”. ТРА"Д – дата по еврейскому календарю – 5674 год от сотворения мира (1914 год). [↑](#footnote-ref-10)
11. Господь да сохранит его и воскресит. Псалтирь, 92:16. [↑](#footnote-ref-11)
12. Талит – молитвенное покрывало. [↑](#footnote-ref-12)
13. Перефразированная цитата из “Пасхальной агады”, сборника молитв, благословений, комментариев к Торе и песен, прямо или косвенно связанных с темой Исхода из Египта и праздником Песах: “*В каждом поколении восстают против нас, дабы погубить нас”.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Притчи Соломоновы, 10:12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Песнь Песней, 8:7. [↑](#footnote-ref-15)
16. Первопроходец *(иврит). “*Гехалуц” – молодежное движение, зародившееся на рубеже XIX–XX веков, целью которого было поселение еврейской молодежи в Израиль. Молодые люди жили и работали в кибуцах – сельскохозяйственных коммунах, основанных на принципах коллективного владения имуществом, равенства в работе, потреблении и социальных услугах, на отказе от наемного труда. [↑](#footnote-ref-16)
17. Гумно и винодельня (давильня) неоднократно упоминаются в Танахе, Священном Писании. [↑](#footnote-ref-17)
18. Здесь Валд соединяет две цитаты: из раздела “Брахот” (“Благословения”) Вавилонского Талмуда и из Притчей Соломоновых, 25:11. [↑](#footnote-ref-18)
19. Рубин Реувен (1893–1974) – израильский художник‑модернист. [↑](#footnote-ref-19)
20. Слово “Аш”, начинающееся с буквы “айн”, означает “моль”. [↑](#footnote-ref-20)
21. В современном иврите слово “конэ” означает просто “покупатель”, в то время как в библейском часто употребляется в смысле “владелец”, “хозяин”, “владыка”. [↑](#footnote-ref-21)
22. Бытие, 14:18. [↑](#footnote-ref-22)
23. Исаия, 1:3. [↑](#footnote-ref-23)
24. Менахем Усышкин (1863–1941) – сионистский деятель, способствовал укреплению халуцианского движения, выкупу земель Эрец‑Исраэль. Сыграл важнейшую роль в создании Еврейского университета в Иерусалиме на горе Скопус, где он и похоронен. [↑](#footnote-ref-24)
25. Абрабанель (Абраванель, Абарбанель) – еврейский знатный род, в котором было немало философов, врачей, исторических деятелей. Род Абрабанелей хранит предание о своем происхождении от потомков царя Давида, переселившихся в Испанию после разрушения римлянами Иерусалима (70 год; 132–135 годы). [↑](#footnote-ref-25)
26. Газета “Давар” (“Слово”, *иврит*) издавалась с 1925 по 1995 год. Это первая ежедневная газета израильского Рабочего движения, с ней сотрудничали известные публицисты, писатели, поэты, общественные деятели. [↑](#footnote-ref-26)
27. МАПАМ (Объединенная рабочая партия) – политическая партия социалистического толка в период мандата, предшественница современной партии Мерец‑Яхад. Ахдут ха‑авода – рабочая партия во времена мандата, ныне партия “Авода”. [↑](#footnote-ref-27)
28. Числа, 23:9. [↑](#footnote-ref-28)
29. Из Талмуда: трактат “Поучения отцов”, 5:8. [↑](#footnote-ref-29)
30. Принятое в еврейской традиции, литературе и в быту название Эрец‑Исраэль (Земля Израиля) приводится впервые в Библии, в книге Первой Самуила, 13:19 (в русской традиции Первая Царств). В тексте Библии этому названию предшествуют названия: Эрец ха‑иврим (Земля Евреев), Эрец бней Исраэль (Земля сынов Израиля, под которыми уже подразумевается Земля Обетованная. [↑](#footnote-ref-30)
31. Хаим Азриэль Вейцман (1874–1952) – первый президент Государства Израиль (1949–1952). [↑](#footnote-ref-31)
32. Выражение “народ, подобный ослу” возникло в связи с проблемой разночтения слов Авраама “…а вы оставайтесь здесь с ослом” (Бытие, 22:5) некоторыми мудрецами Талмуда (например, раби Абаху), прочитанных как “оставайтесь здесь народом‑ослом” из‑за того, что предлог “им” (“с”) пишется так же, как слово “ам” (“народ”). [↑](#footnote-ref-32)
33. Пьеса, “трагическая комедия” Фридриха Дюрренматта (1921–1990), швейцарского писателя и драматурга. [↑](#footnote-ref-33)
34. Натан Альтерман (1910–1970) – израильский поэт, драматург, эссеист, один из лидеров литературного авангарда своего времени, автор популярных злободневных стихов, тонкий лирик, один из наиболее читаемых израильских поэтов. [↑](#footnote-ref-34)
35. Зах Натан (р. 1930) – израильский поэт и литературовед, оказал значительное влияние на формирование нового направления в израильской поэзии 1950–1960‑х годов, получившего название “поколение государства”. [↑](#footnote-ref-35)
36. Господин Валд переиначивает образное выражение из Вавилонского Талмуда, где (полностью) сказано: “Десять мер красоты спустились в мир: девять досталось Иерусалиму, а одна – остальному миру”. [↑](#footnote-ref-36)
37. “От Моше до Моше не было подобного Моше” – популярная в Средние века еврейская поговорка, высеченная на надгробии РАМБАМа (Моисея [Моше] Бен Маймона [Маймонида]). [↑](#footnote-ref-37)
38. Далия Равикович (1936–2005) – израильский поэт и переводчик, классик израильской литературы. Первый же сборник стихов (1959) принес ей огромную популярность, которая в дальнейшем только росла. [↑](#footnote-ref-38)
39. Агапий, известный под именем Агапий Манбиджский (Махбуб ибн Кунстанатин ал‑Манбиджи, “Агапий сын Константина”, или Агапий Иерапольский, ум. 941/942) – арабский христианский историк X века. Около 941 года составил всемирную хронику “Книга титулов” (“Китаб аль‑Унван”), одно из первых исторических произведений на арабском языке. Для ранней истории христианства Агапий некритически использовал апокрифы и легенды. Сочинения Агапия имели широкое хождение в христианской среде. [↑](#footnote-ref-39)
40. Танна – законоучитель (от арамейского “тни” или “тна” – “повторять”, “учить”); это слово было в ходу в Эрец‑Исраэль в I–II веках н. э., до завершения Мишны (начало III века н. э.). [↑](#footnote-ref-40)
41. Бен Аззай Шимон – один из законоучителей, живший в Эрец‑Исраэль во II веке н. э. Умер молодым, не женился, ибо сказал:

    “Моя душа возлюбила Закон, мир будет продолжен другими”. О нем же сказано: “Для того, кто увидел его во сне, есть надежда обрести благочестие”. [↑](#footnote-ref-41)
42. Пайтан – поэт, автор пиютов (обобщающее название ряда жанров еврейской литургической поэзии). [↑](#footnote-ref-42)
43. С 1920 до 1956 года регулярная армия эмирата Трансиордания (с 1946 года – Королевство Иордания) финансировалась Великобританией, руководили ею британские офицеры. [↑](#footnote-ref-43)
44. Сказано в Талмуде: “С тех пор как разрушен Храм, дар провидения был отнят у пророков и перешел к мудрецам”. Некоторые добавляют: “…а также к безумцам и младенцам”. [↑](#footnote-ref-44)
45. “Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его” (Притчи, 27:22). [↑](#footnote-ref-45)
46. “О четырех сыновьях повествует Тора: о мудром, нечестивом, простодушном и неспособном задавать вопросы” (Пасхальная Агада). [↑](#footnote-ref-46)
47. Агада Пасхальная – сборник молитв, бенедикций, толкований Библии и литургических произведений, прямо или косвенно связанных с ритуалом праздника Песах и с темой Исхода евреев из Египта. [↑](#footnote-ref-47)
48. “Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю: пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице” (Притчи, 30:18‑19). [↑](#footnote-ref-48)
49. Матфей, 22:13. [↑](#footnote-ref-49)
50. Квартал Хайфы. [↑](#footnote-ref-50)
51. “Боц” – “грязь” на иврите. Для приготовления кофе “боц” ложку‑две молотого кофе заливают кипятком и размешивают. [↑](#footnote-ref-51)
52. Менахем Бегин (1913–1992) – израильский политический деятель. Уроженец Российской империи. Окончил юридический факультет Варшавского университета. Когда нацисты вторглись в Польшу, Бегин бежал в Вильнюс, в 1940 году был арестован советскими властями, получил восемь лет лагерей за сионистскую деятельность, но в конце 1941 года был выпущен из лагеря и в составе сформированной в Советском Союзе польской армии Андерса прибыл в 1942 году в Палестину. В 1977–1983 годах – глава правительства Израиля. [↑](#footnote-ref-52)
53. Бейт‑Маалот (буквально – Дом Ступеней) – жилой комплекс, сооруженный в 1935 году, в котором проживали многие известные деятели израильской культуры. [↑](#footnote-ref-53)
54. Больница имени Хансена (норвежского врача, открывшего возбудитель проказы). Здание построено в 1887 году по проекту архитектора, археолога и исследователя Палестины Конрада Шика. Здание Хансена расположено на улице Яакова Шескина (1914–1999), названной в честь врача, нашедшего лечение от проказы. В качестве лепрозория служила до середины 50‑х годов прошлого века. Как больница – до 2000 года. Сейчас в здании музей больницы и центр “Митхам Хансен”. [↑](#footnote-ref-54)
55. Книга Пророка Даниила, 12:12. [↑](#footnote-ref-55)
56. Второзаконие, 21:23. [↑](#footnote-ref-56)
57. Нахум Гольдман (1895–1982) – один из лидеров сионистского движения, инициатор и участник переговоров с канцлером ФРГ К. Аденауэром о выплате репараций Израилю и компенсаций жертвам нацизма. Н. Гольдман расходился с израильским правительством и его лидерами – прежде всего, с Бен‑Гурионом – по многим политическим вопросам. [↑](#footnote-ref-57)
58. Амос, 5:19. [↑](#footnote-ref-58)
59. Fall in love (*англ.*). [↑](#footnote-ref-59)
60. Притчи Соломоновы, 10:12. [↑](#footnote-ref-60)
61. Притчи Соломоновы, 13:12. [↑](#footnote-ref-61)
62. Михей, 4:4. [↑](#footnote-ref-62)
63. Иов, 7:2. [↑](#footnote-ref-63)
64. Радак (раби Давид Кимхи, 1160? – 1235?) – грамматик и комментатор Библии, его труды оказали глубокое влияние на сочинения христианских гебраистов эпохи Ренессанса. Испытал влияние Маймонида. [↑](#footnote-ref-64)